

The image is a surreal, high-contrast photograph of a road and trees. The entire scene is rendered in a dual-color palette of red and blue, creating a dreamlike or otherworldly atmosphere. The road, which occupies the lower half of the frame, has white dashed lines and arrows painted on it. To the right of the road, there is a grassy area with several trees, some of which are bare and others with sparse foliage. The background shows more trees and a distant horizon. The overall effect is one of a distorted, perhaps infrared or ultraviolet, view of a familiar scene.

Владимир
КОЗЛОВ

РАССЕКАЮЩИЙ
поле

Самое время!

Владимир Козлов
Рассекающий поле

«WebKniga»

2018

Козлов В.

Рассекающий поле / В. Козлов — «WebKniga», 2018 — (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-1718-1

"Рассекающий поле" — это путешествие героя из самой глубинки в центр мировой культуры, внутренний путь молодого максималиста из самой беспощадной прозы к возможности красоты и любви. Действие происходит в середине 1999 года, захватывает период терактов в Москве и Волгодонске — слом эпох становится одним из главных сюжетов книги. Герой в некотором смысле представляет время, которое еще только должно наступить. Вместе с тем это роман о зарождении художника, идеи искусства в самом низу жизни в самый прагматичный период развития постсоветского мира.

ISBN 978-5-9691-1718-1

© Козлов В., 2018

© WebKniga, 2018

Содержание

Информация от издательства	5
I. Дорога на северо-запад	6
II. Женская глава	26
III. Рыцарский роман	50
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Владимир Козлов. Рассекающий поле

*И чтоб невежей не казаться,
Он неуместным счел вопрос
И ни слова не произнес.*

Кретьен де Труа. «Персеваль, или Повесть о Граале»¹

Информация от издательства

Козлов, В. И.

Рассекающий поле: роман / Владимир Иванович Козлов. – М.: Время, 2018. – (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-1718-1

«Рассекающий поле» – это путешествие героя из самой глубинки в центр мировой культуры, внутренний путь молодого максималиста из самой беспощадной прозы к возможности красоты и любви. Действие происходит в середине 1999 года, захватывает период терактов в Москве и Волгодонске – слом эпох становится одним из главных сюжетов книги. Герой в некотором смысле представляет время, которое еще только должно наступить. Вместе с тем это роман о зарождении художника, идеи искусства в самом низу жизни в самый прагматичный период развития постсоветского мира. Книгу питают различные жанровые традиции мировой литературы – литературное путешествие, поэма, роман воспитания, роман о художнике и даже рыцарский роман. Культурной рифмой к образу героя делается рыцарь Персеваль, появление которого некогда изменило всю европейскую литературу.

© В. И. Козлов, 2018

© Состав, оформление, «Время», 2018

I. Дорога на северо-запад

Ну что ж, я встал и пошел. Не для того, чтоб облегчить себя. Для того, чтобы их облегчить.

В. Ерофеев. «Москва – Петушки»

1

Сева сложно устроен. Где-то в нижнем углу большой залы внутри его головы невидимый граммофон урчит песню:

АНИ-гаварЯт-им-нелзЯ-ри-ска-вАть,
ПотомУ-что-у-нИх-есть-дОм,
В дОме-го-рИт свЕ-е-ет.

А возле окна этой залы неподвижно стоит юноша, глядящий в окно. Прямо перед его глазами широко течет Дон. Молодой человек думает о том, что случается с тем, кто однажды начинает петь и более не останавливается. О том, что это за почва, в которой песня созревает. К блаженству и покою ли этот путь – или песня уводит от них навсегда? Как она находит того, кого можно выхватить из рядов? Куда она отправляет своего героя? Вернет ли своим или – неузнаваемым чужим, пропащим?

И-Я-не-знА-ю-тОчно-кТО-из-нас-прАв.
МенЯ-ждет-на-У-ли-це-дОждь,
Их-ждет-дОма-А-бед.

В этой песне Сева любил только первый куплет – его спокойный драматизм. В нужном месте Сева явственно слышит гитарный проигрыш. На самом деле он сейчас вышел из общегития на улице Зорге в Ростове-на-Дону и напевал, оставляя за спиной эту монструозную типовую образину:

Закрой за мной двЕ-ерь – я-У-хо-жу. Па-пА-ра-пам.
Закрой за мной двЕ-ерь – я-У-хо-жу.

Во втором куплете появится какое-то странное, непонятное «мы». Цой, наверное, знал, о чем речь.

До Цоя вообще не было никаких песен. Просто потому, что кто-то всегда приходит первым в мир немоты. Остальная мировая культура была потом.

Сева не сосредотачивался, не пытался спеть похожим голосом – пел, не придавая действию значения. Однако не мычал про себя, а именно что пел – прямо посреди города. В городе можно идти по тротуару и петь чуть не во весь голос, не опасаясь, что кто-либо тебя услышит. Никто не услышит. Как выражаются строители, воздушная подушка в стене лучше всего сохраняет тепло и оберегает от звуков извне. Сева шел, со всех сторон окруженный толстой и почти непроницаемой воздушной подушкой.

Заканчивался июнь 1999 года, начинался трудный понедельник, было восемь утра – не для песен время. И Сева Калабухов старался не забываться: пел – будто жвачку жевал. А когда

вошел в автобус на привычной остановке около студенческого городка и взялся за влажный поручень, так и вовсе – исчез.

Ощущение невидимки приходило, стоило остановиться, замолчать. Оно накапливалось в организме, как гормон, который в какой-то момент запускает неконтролируемые процессы внутренних перемен. Всеволод последние два года в некотором смысле тренировал ощущение полного растворения в массе большого города. Оно ему было любопытно. Людям все надо разжевывать лицом, а лучше потом еще и объяснить. Красив ты или нет – это второстепенно. Даже в красивом лице лень читать, вот в чем беда. Глаза, способные отражать душу, тупеют от собственной не востребованности. А если твое лицо надо всякий раз будто собирать заново из отдельных черт, то его лучше назвать непримечательным. Особенно если некому собрать твой портрет. И ты отсутствуешь. А генератор внутреннего мира работает. И опыт исчезновения из внешнего оказывается неожиданно глубоким и разнообразным.

Слава богу, нет давки. Сева разместился на центральной площадке по ходу движения, уложив спину в изгиб поручня – так он мог одинаково естественно смотреть в окно и блуждать взглядом по салону. Ни одного ребенка. Рабочий класс едет из Западного спального района Ростова-на-Дону начинать жаркий день. Жара уже набирает силу. Сева потянулся и отодвинул стекло – ветерок полетел в лицо. Повернул голову и увидел здорового мужика с заячьей губой – он держался за поручень и обливался потом, ему было тяжело существовать. Остальные выглядели, как каталог удобных для отключки поз. А этот – стоит и работает. Вот еще не старая суховатая женщина, по-старушечьи закусившая нижнюю губу. Она как будто уже зажала губами свое бремя – и едет, не поднимая глаз. Мужчина рядом с нею шурится и чуть улыбается – так, как будто ему в лицо дует ветер и он слушает собеседника, – но ни собеседника, ни ветра нет, а лицо – застыло. Как будто он забыл это выражение на своем лице – и некому напомнить. Люди выглядят брошенными, застигнутыми неожиданным взглядом кто в чем, кто с чем на лице. Их выражениям не на кого опереться. Во всяком случае сейчас, пока они только едут туда, где будут сегодня жить.

Автобус медленно катился по почти пустому проспекту Стачки. На площади Тружеников вошла девушка. Сева подумал, что небо послало в центр его утренней картины мира главную героиню. Она встала у окна так, что он видел ее профиль. Она тут же повернулась на его взгляд и отвернулась к окну вновь. Ей будто некуда было девать большие темно-синие глаза. Они отовсюду видны, на что их ни наведи. А то, на что они смотрят, тут же начинает тянуться к их свету. Сева уже смотрит на нее не один. Что уж тут поделаешь. Ее не достающие до плеч волосы с одной стороны заправлены за ухо. За одну только форму уха она достойна титула герцогини, которую полагается беззаветно и безнадежно любить. Есть ли кому любить тебя, девочка? На ее коже не видно ни одной родинки, на ней совсем нет загара. Крылья тонкого носа подрагивают, как у немного испуганного животного. Да, подумал Сева, это было и в ее быстром взгляде: убегающая, ускользающая от прямых лучей красота. Даже в профиль видно, что ее зрачки ни секунды не останавливаются на одной точке. Она чувствует, что он смотрит: ее взгляд постоянно будто отскакивает в его сторону, но – недолетает, и она уже как будто сердится, ощущая давление.

Сева тоже посмотрел в окно. Автобус ехал по мосту над железнодорожными путями. Отпустил ее – этого совсем чужого, но вдруг совершенно понятного человека. Она понятна, потому что красива, или красива, потому что понятна? Хороший вопрос, надо запомнить. Дверь открылась, и Всеволод вышел. Все опасно, куда ни глянь. Все заставляет присматриваться. А присмотришься – и не можешь оторваться. Присмотришься – и уже в ответе.

До университета нужно было ехать с пересадкой, дорога занимала до сорока доведенных до автоматизма минут. Одни маршруты доставляли жителей спальных районов в центр, другие – развозили по нему. Сева проделывал этот путь каждый будний день вот уже два года. Сейчас

он сошел на Братском и вместе с вереницей попутчиков быстро пошел к Большой Садовой – главной городской артерии.

За той девушкой, наверное, и теперь, когда я вышел, кто-то наблюдает, подумалось ему. Она просто не может быть невидимкой – и поэтому как будто мечется на свету. От собственной красоты ей не скрыться, не слиться с роем, ее всегда обнаружат, в нее вглядятся, побеспокоят, тронут, попытаются присвоить. Хотел бы я вот сейчас вдруг выйти из мрака и предстать перед всеми в сиянии красоты? Нет, красота, это, конечно, не для мужчин. Мы чудовища, которым приносят жертвы.

Нет, тут что-то недодумано. Это не все, что нужно сказать о красоте. Может быть, эта девушка была, скажем так, не особенно красивой? Пускай на нее пялились – мужики на всех пялятся, особенно летом, когда – платица. Может быть, красив на деле только замысел судьбы, прочтенный в ее лице? Разве не так? Или нет, и дело только в природе? Или все-таки в том, что ты можешь в ней прочесть? Да, вот так – нужна ли красоте культура? Каким быть должен я, чтобы не угробить ее при касании?

Сева умел думать о таком, мечта в рот семечки. В нем не было возвышенности. Это был тон человека, много времени проводящего с самим собой – привыкшего без стеснения формулировать любопытное, но, как правило, неуместное для обсуждения.

Сева снова зашел в автобус, этот был набит гораздо плотнее, зато – длинной «гармошкой». На пути к подвижной центральной части раздался тихий грохот – мужчина зацепил гитару в чехле, которую Сева нес в руке.

2

Гитара – яркая деталь. Да еще в таком чехле. Он сшит из серого дерматина с помощью ручной швейной машинки. Таких чехлов не бывает.

Именно заметив гитару, внимательный наблюдатель получает повод задаться вопросом: куда же едет герой? Ведь молодой человек, который садится на остановке у студгородка, почти наверняка студент. А студент всегда едет в университет. Но не с гитарой же. Да и сессия в это время года подходит к концу. Действительно, Севе с позавчерашнего дня ровным счетом нечего делать в университете – он сдал все предметы, будет получать стипендию. То есть он точно едет не в университет. Наблюдатель бы это сразу понял – если бы он был.

Немаловажно и то, что Сева не просто студент, а – из приезжих. Ни по его вполне раздолбанному, но еще приличному кроссовкам, ни по рубашке с петухами, ни по джинсам, ни тем более по спокойным зеленым глазам этого факта не установить. Он приехал из маленького городка – а люди любого малого городка почти не отличаются от основной массы людей самого большого. В огородах они не работают и коров не доят, а значит, отличительных меток, выдающих чужака, если не совсем идиоты, не имеют. Вот и Сева не колхозник видом – и взгляд на нем не остановится.

Сева окончил второй курс, ему девятнадцать лет. Но где-то была черта, после пересечения которой уже не важно, девятнадцать или двадцать девять. В нем росту за метр восемьдесят пять, вес боксера-тяжеловеса и грудь – видно над второй пуговицей рубашки – волосата. Лицо – широкое, загорелое, с большими губами, мощными бровями и желваками. Было время – в зрелые застойные эпохи, – когда мальчишки в девятнадцать впервые сбрасывали с лица редкие волосенки и наконец замечали, что вся одежда на них куплена мамой. А Сева – ребенок другого времени, в котором детей в этом возрасте уже не бывает. Нет такого наблюдателя, который бы угадал его возраст, а значит – мог бы понять, что именно сейчас делает Сева.

Вот так – выходит, Севе нужен уже не просто выхватывающий его из беспросветности наблюдатель – нужен кто-то, кому было бы интересно знать о нем важные вещи, вдуматься в

него. Ничего себе. Запросы личности растут по мере увеличения объемов внутренней работы, проделываемой ею в молчании и мраке.

Предметы – возвращают, особенно не воспаришь. Поручень под ладонью уже мокрый. И это восемь двадцать утра. Жара может не пощадить. Об этом невозможно не думать. Автобус скрипнул дверью – и духоту разбавил порыв снаружи. Совсем не прохладный. Сева понимал, что он неторопливо подъезжает к жаре. Свернули с Советской на Карла Маркса – на улицу, где ему в обычной жизни бывать уже совсем незачем. Он уже вышел за пределы привычного мира – достаточно было проехать на несколько остановок больше. Отчего же, впрочем, на несколько? Сева собирался ехать до конца. Он как будто только вспомнил это – и внутри похолодело, он крепче сжал поручень.

Руки тоже примечательны. Это руки не пианиста, не воина, а – работяги. Мясистые широкие ладони, темноватые – будто недомыты после земли, а земли они не касались уже давно. Просто Сева – плебей.

Куда это ты собрался, плебей?

Сева собрался путешествовать. Он – уже путешествует. Смотрит на второй поселок Орджоникидзе, аэропорт, от которого пятнадцать минут до центра города, – смотрит на все это, как на сопки Манчжурии. Он уже никогда не видел этих мест. И сердце пронзает ледяной страх. Потому что Сева не знает, сможет ли он вернуться. Потому что вокруг уже тот первозданный чужой мир, в котором человеку предстоит все сначала – и невозможно знать, что сил на это хватит.

Он почувствовал, что его пальцы мокры и холодны несмотря на жару. Дверь открылась на остановке. Пожалуйста, сходи – и на твое возвращение почти никто не обратит внимания. Легко отделаешься шуткой, мало ли их было.

Может, и отделался бы – если бы заставлял кто. Двери захлопнулись, осталось три остановки. Стало легче. Страшно – на пороге.

Оказывается, это просто – отправиться в путешествие. Проехать остановку и тем самым вывалиться из обыденности. Сева не умел бояться абстрактных вещей. Он не боялся будущего путешествия, хотя таким, каким он его задумал, его стоило бояться. Больше, чем абстрактное будущее, пугало конкретное настоящее.

С ним – уже давние счеты. Отзывчивый, впечатлительный, простодушный, Сева умел говорить «нет» гораздо лучше, чем «да». Спроси его: «Чего ты хочешь, Сева?» – и он растеряется, попытавшись заглянуть за край девичьей любви, туда, в абстрактный мир будущего. Зато очень хорошо знал, чего не хочет. «Я не полезу в эту черную дыру подвала – оттуда воняет». Вот оно – прямо перед глазами, не абстрактное, не на картинке. «Не надо этого» – он отсекал своим внутренним жестом все новые пространства до тех пор, пока перестал уместиться на оставшемся пятачке. И пятачок этот был настолько мал и жалок, что оставалось родиться последнему отказу, чтобы логическая цепь вытолкнула его из его мира, распространявшегося на полтора метра вокруг его койки в углу общажной комнаты. Он сейчас был на грани полного исчезновения.

Этот последний отказ ковался с зимы, ковался тайком как нечто, что нельзя разделить. Сева как будто прикрыл ладонями кусочек пустоты, чтобы там наконец накопилось отчетливое чувство. Но попробуй покажи его – и ты останешься ни с чем, и все увидят, что у тебя ничего не было, что ты – пустомеля. А это ведь – неверно: слово неточное. Точнее было бы сказать, что он хотел творить из ничего. Сомкнуть два ковшика ладоней, подождать, пока внутри них согреется воздух и зародится жизнь, и выпустить ее на волю. Он никогда не доводил этого эксперимента до конца, но сейчас чувствовал себя обязанным это сделать – внутри ладоней должен был зародиться он сам.

Но зачем для этого путешествовать?

Всеволод Калабухов знал про это немного. Он знал только, что едет в Санкт-Петербург. И тем самым как бы задавался в его голове невинный и беспроницаемый сценарий травелога. Он как бы ехал за достопримечательностями и баночкой воздуха с Невского.

Но человек, отбывающий в культурную столицу страны, садится на поезд или проходит рамку в аэропорту. А Сева – Сева сел на городской автобус.

Это был особенно удачный маршрут, который появился совсем недавно – через весь центр города в прилегающий Аксай с выездом на федеральную трассу М-4 «Дон». Дальше шли только междугородные автобусы. Сева сошел на остановке около поворота в сторону Аксая. Взглянул на часы: без четверти девять. Посмотрел через дорогу: за жидкой лесополосой поле – такое большое, что Сева отвернулся. Несколько секунд помедлил – и пошел вдоль обочины прочь от города.

3

Он было призадумался: а не дожидаться ли автобуса на Новочеркасск. Или даже до Шахт, которые в шестидесяти километрах. Но нет, решил, это тупик, это только отложит начало. Пусть путешествие начнется прямо сейчас. И оно началось – таким, каким было задумано: почти без денег через всю европейскую часть страны к городу, от которого веяло другой, пока только придумываемой жизнью.

Конечно, он не собирался идти к Балтике пешком, но и ловить машину на остановке посчитал неестественным. И вот Сева впервые обернулся к машинам, наезжающим из-за спины, прищурился от ударившего в глаза солнца и поднял руку.

Чуда не произошло. Синяя «семерка» прошла мимо, метрах в ста подъезжало что-то немецкое. Такое и останавливать страшно. Сева опустил руку и пошел дальше. Нечего стоять и ждать, раз назад дороги нет. Он обернулся: на его глазах увеличивалась серая «девятка». На расстоянии, когда еще не видно лиц, Севе показалось, что он взглянул водителю прямо в глаза. Он поднял руку, обращаясь лично к нему, он помогал ему мимикой, а губы беззвучно прошептали: «Ну давай», – но тот явно проезжал мимо. Сева усмехнулся, ему стало веселее.

Красиво звучит слово «автостоп» – в нем есть легкость. Сева слышал его от старших соседей с нижних, более престижных этажей общаги. Это слово опытных людей, знающих, какой должна быть униформа: яркие цвета, рюкзак, пришитые к одежде катафоты. У них было свое сообщество, они регулярно собирались на занятия: как собрать рюкзак, что нужно знать, если ты едешь в Грузию, как рассчитать необходимое для поездки количество денег, как вести себя с водителем, если ты девушка... Сева так и не узнал никаких правил. Его не интересовал образ жизни, ему было наплевать на культ дороги и правило большого пальца – он хотел в Питер. Зачем рассчитывать, сколько нужно денег, если больше, чем есть, все равно негде взять? Зачем методика сбора рюкзака, если у него нет рюкзака – и покупать его он точно не будет? Зачем считать водителей идиотами – неужто они без большого пальца не разбирают, почему человек на обочине поднял руку?

А во что одеться, можно и самому сообразить. Он выбрал темно-горчичную сорочку с экзотическими фруктами и пальмами. Выбрал, потому что эта вещь не мнется, а грязи на ней не видно. Хоть помидор на ней раздави, дикого вида не выйдет – это то, что надо. И он в этой рубашке похож то ли на туриста, то ли на художника.

Гитара в чехле одно название – дрова дровами. Но она довершала образ – она должна была сообщить каждому встречному, что человек, несущий музыкальный инструмент через всю страну, не опасен.

Сева сразу отбраковывал машины с двумя и более головами в просвете окон. Но первой остановилась «копейка» с супругами бальзаковского возраста. Он открыл заднюю дверь:

– Вы в сторону Новочека?

– Да.

– Можете подвезти до поворота с трассы?

– Садись.

Ну не Питер же сразу называть. Сева назвал ближайший город, чтобы не пугать. Но сразу уточнил.

– Вы в город заворачиваете?

– Ага.

И не к чему продолжать – все равно дальше искать другого извозчика. Скользнул взглядом по затылкам, которые выглядели как портреты старых знакомых. Супруги из работяг строили планы на день, тут же забыв о пассажире. Сева привычно ощутил себя в большой семье, и даже стало как-то уютно от их народного равнодушия. На заднем сиденье места хватало только на него одного – все остальное было заставлено крупными базарными сумками и каким-то хламом.

За окном тянулись поля, на которые он мог бы и не смотреть, – так хорошо он знал их вид. Их бессобытийностью пропитано подсознание. Если прямо посреди этого бесконечного поля построить несколько многоэтажек, дорогу между ними да школу, получится Волгодонск – город, всего лишь пятьдесят лет назад нарисованный на карте среди голой степи. В эту степь уходили проспекты, на нее смотрели окна пятого этажа. Сева был заперт в той природе – и потому как будто не видел ее, отмечал только, что тут растет, какая культура. Поля стояли тяжелые, через неделю должны начать убирать пшеницу.

Воспитанный матерью, он здесь вырос. Разве не хороша колыбель? – подумалось ему, – разве ты не вышел из нее хорошим человеком? Разве не здесь вложена в тебя простота труда и самоотречения? Так чего ж тебе еще надо? Почему же ты теперь едешь прочь и странна сейчас для тебя даже мысль о слезе прощания? Что это – жестокая несправедливость, история о том, как человек не способен ценить именно то, что имеет, и заходит в этом чувстве слишком далеко? Или он действительно перерос колыбель?

Севе вспомнилась история про то, как он лет в пять собрал кубик Рубика. Родители вернулись со двора – снимали тогда в частном секторе домик с огородным участком, – а сын им показывает то, чего никто из них никогда не мог сделать. Охи, ахи – а потом мама пригляделась: цветные нашлепки отстают. Им все стало ясно: сын собрал одну сторону, а потом старательно переклеил все цветные квадратики, вплоть до полной гармонии. Ну, так каждый может, сказали они. «Не каждый, – позднее думал Сева. – В конце концов, я же его собрал! Я восстановил миропорядок. В мире моих родителей никто и никогда не собирал этого кубика. А я сделал это. Как мог. В пять лет».

О господи! Сева вдруг понял, что на переднем сиденье пассажира сидит его мама. Да, он не видел ее полгода, но это вполне мог быть ее затылок. Ее выкрашенные хной волосы с годами все более коротки. Сева не видел ее лица, да и не смотрел почти, но время от времени мелькал профиль. В нем он узнавал закрепленное с годами в морщинах выражение постоянного изумления перед миром, который всегда оказывается не таким, как она думала. Сева так уже привык к нему, и вот только сейчас вдруг пришло осознание, что когда-то – во времена кубика Рубика – этого изумления не было.

Он ничего не сказал ей о поездке. Ну как это скажешь – она же волноваться будет. Еще подумает, что она может что-то запретить сыну. Зачем ее искушать? Он оповестил о том, куда отбывает, только двух соседей по комнате в общежитии. Сделал это в последний момент, когда уже не посмеешь с подспудным убеждением, что наутро рассосется. Наутро Сева уехал.

За рулем сидел русоволосый мужчина с обвисшими усами, которому она без остановки что-то говорила:

– ...и она на меня, главное, смотрит – и сыпет мелкие! О наглёшь!

Водитель усмехнулся так, будто хорошо понимал эту хитрую гадину и даже в глубине души поддерживал ее в желании надуть свою жену.

– Я ей говорю: сыпь обратно, сыпь, а не то я тебе щас это ведро на голову одену!..

Она платила за простодушие своей неспособностью поднять головы над копеечной выгодой. Она считала, что не должна уступать никому ни пяди, потому что это было бы нечестно, – и не замечала, что на эту возню о том, чтобы правильно дали сдачи, уходит вся жизнь. А он вон усмехается: мол, грех такую дуру не дурить. И она понимает то, что он не говорит сейчас, – и готова уже в лепешку разбиться, чтобы доказать, что ее на мякине не проведешь. «Эх, мамуля, а как жить, если не надо никому ничего доказывать?»

«Копейка» завернула, и Сева крикнул: «Мой поворот!» – и правильно, потому что о нем успели позабыть. Он быстро выскользнул, чтобы мама, которой здесь не могло быть, его не заметила.

4

Придорожная зелень никогда не бывает зеленой – она сера, и этот серый кажется ближе к белизне солнца, чем к цвету чернозема. Защитный цвет, которым пользуются даже выгоревшие растения.

На трассе белый зной.

Пить хочется. Рано пить, оборвал себя Сева и поднял руку. Он поднимает ее минут сорок, за это время прошел по кромке километра три.

Машины все двигали и двигали мимо. Красные, зеленые, синие, черные, побитые, новые, иномарки, свои, мотоциклы с коляской – все проезжали мимо, потому что у них были дела, в которых нет места чужим людям. «А ты думал, тебе сразу красавицы на выбор останавливать начнут?» – подзуживал себя Сева. – Раскатал губу. Ты ж хочешь, чтобы они тебя везли бесплатно куда тебе надо. Нашел лохов... Ну давай, дорогой, ты же едешь один, тебе скучно, ты везешь мешок картошки с ростовского рынка, неужто после этого у тебя не выросли потребности? Неужели ты больше никогда ничего не хотел? Неужто я не напоминаю тебе своей одинокой фигурой то, о чем ты только робко подумывал? Посмотри на меня две секунды, ну посмотри, давай – стоп, вот о чем ты сейчас подумал? Давай, василий, давай, отдавай себе отчет быстрее – пока не проехал меня! Прислушайся к себе. Вспомни, как служил во флоте, как видел море. Разве ты не смотрел на него как хозяин, забыв на мгновение о том, что трудовые ладони твои сжимают древко швабры, которая править будет тобой еще многие месяцы? Разве ты не ухватил вот этого счастья, когда один на один – мир, здоровенная штукавина, и ты, обсос? А ты смотришь на него – и глаза твои смеются. А?... Проехал! Вот же гондон. Ты, может, не понял, что я с гитарой? Что я человек искусства, мать твою. Я ж специально для таких идиотов инструмент через всю Россию прущу...»

Севой владел кураж случайно нащупанного тона. Новая роль человека на обочине как будто подсказывала ему слова, которых раньше не было. Таких речей он не произносил никогда, потому что для них ему не хватало чувства исключительности, заостряемого теперь с каждой проезжающей мимо машиной. И так удобно в сторону от основного пути уводила глубокая колея для исполнителей роли отверженного гения.

Он вдруг осекся. Все эти чужие, но готовые слова, как будто поставленный уже кем-то давно тон, – все смолкло. И он как будто даже остановился. А потом поправил сумку и пошел, молча, не глядя на дорогу, будто даже забыв о ней совсем. Забыв поднимать руку. Он упорно шагал по щебню, набираясь уверенности от самой бессмысленности своего действия. Он шел так около четверти часа, пока немного не прояснилось.

В принципе, уже можно и попить. Он расстегнул молнию черной сумки, висящей на плече, и вынул литровую пластиковую бутылку с теплой водой из-под крана. Желания пить

она не вызвала. Именно такую воду и нужно брать. Еще меньше хочется пить чай без сахара, но Сева обошелся простой хлорированной водой из-под крана.

Содержимое сумки он тщательно продумал. Единственным, что он купил перед отъездом, был атлас автомобильных дорог. В сумке также лежал прозрачный пакет с чистыми трусами и носками, складной нож, две банки кильки в томатном соусе, в кармашке катушка ниток с воткнутой иглой, спички, бутерброды с сыром и салом, записная книжка со всеми адресами и телефонами, небольшой сверток туалетной бумаги, маленькое полотенце, мыло в мыльнице и зубная щетка. В сумке оставалось еще довольно много места. Долго думал, брать ли с собой кофту. Ее точно не придется надевать часто, возможно, не придется вообще. На себе не повезешь – жара, места в сумке займет много, да и подходящей кофты не было – только джинсовый пиджак. А вдруг придется быть ночью в лесу? Сева нашел выход – взял с собой покрывало и сунул его в так подходяще великоватый чехол для гитары. Ее, возможно, тоже не придется доставать. Долго размышлял над зонтом. И пошел на риск – не взял.

Вспомнил, повернулся, поднял руку – и первая же машина притормозила. «В сторону Шахт подбросите?» – «Давай». Даже не успел рассмотреть, что за машина.

Какая-то поношенная иномарка. Сел рядом с водителем и почувствовал себя огромным. За рулем сидел маленький старый мужичка с большими усами, в которых торчала сигарета. Изящными руками он держал грубое колесо руля.

– А ты откуда добираешься? – просто, как пацан из соседнего двора, спросил этот почти уже дедок, не поворачиваясь и не выпуская сигареты.

– Из Ростова.

– Нет, вот что это стучит?

– Где?

– В двигателе. Слушай... Слышишь?.. Вот, сейчас.

– Да.

– Что?

– Стучит.

– Это я слышу. А какого хера там стучит?

– Это вопрос.

– А потому что умник влез! Эта старушка два года бегаёт, я один раз резину сменил. Тыфу-тыфу. У нас просто роман был, жили душа в душу. Нет, прохожу три дня назад техосмотр, отвернулся, так этот мудозвон полез к ней под капот. Я увидел, говорю: дядя, не лапай! Но всё – ядовитый сперматозоид был уже в пути, и старушка закашляла, как только я вышел на трассу. Ну не падла ли?

– Падла, – весело удостоверил Сева, ничего не понимавший во внутренностях автомобиля.

– Эти умники только сидят и ищут, как им, мудакам, нарушить гармонию природы. Если ты в поиске – возьми ведро говна и взбей сметану, это я понимаю. Но если ты суешь свои грязные ублюдочные руки в святая святых, то ты просто мудак.

– Они не знают, где это – святая святых.

Кто это – «они»? Сева подыгрывал, не соображая. «Гармония природы» под капотом? Говно и сметана? Что за дичь у него в башке? Но – весело и неопасно.

– Ото ж... Говорю же... – и он выдал уже порцию отборных ругательств. – А тебе прямо в Шахты?

– Честно говоря, как можно дальше по трассе.

– Я буду в Красный Сулин поворачивать.

– На повороте тогда меня...

– У меня там друг живет, капитан морских судов. Объездил весь мир. Попросил отвезти его в аэропорт. Летит сейчас в Вену, там пересадка – куда-то на Средиземное.

- В ростовский аэропорт из Красного Сулина?
- Да.
- А вы из Ростова?
- Сейчас в Батайске живу.
- То есть вы сначала за ним в Красный Сулин, а потом его в аэропорт?
- Да.
- А чего он – автобусом и электричкой брезгует?
- Да мне несложно. Добился все-таки чего-то человек.

Сева помолчал. Почему-то подмывало. Первый раз видел человека, а было обидно за него так, как будто уже знал про него все. До раздражения уже знал.

– Конечно, добился, – проворчал Сева, глядя в поля. – Не у каждого есть такой товарищ. Может себе позволить попросить старого друга метнуться в другой город, чтобы с комфортом доехать в аэропорт. Видно, что высокого полета человек.

Сейчас теоретически можно было бы и на трассу внепланово сойти, а практически – ни в коем случае. Мужчинка Севу тоже как будто распознал. Дистанция у них сложилась, как у деревенских, за пять минут – как будто уже родня и судить уже друг друга можно. Он уже и Севе как будто был должен – пообещал же довезти, несложно же. А Сева еще и не понял, что уже давит, еще казалось, что сейчас откроет ему глаза – и тому станет проще.

– Мне не сложно, – устало повторил человек старым голосом, и после паузы: – У него все-таки жизнь, а я сидел бы сейчас, пивко тянул возле телевизора.

– А семья?

– Нету. Всю жизнь, брат, одни любовницы. Да и те... Лучше всего мне сейчас в дороге. Никто мозги не трахает.

«Брат», блин – да тебе же за полтос, дядька, подумал Сева.

– Да, действительно постукивает.

– Слышишь, да? – оживился он, а у Севы сжалось сердце.

5

Сева шел по пыльной обочине мимо щита со стрелкой налево. Там – забытый богом Красный Сулин – островок большой, но плохо заселенной шахтерской территории. Город – ровесник Ростова, а живет в нем тысяч сорок. В двадцатых годах Сулин – фамилия казачьего полковника – стал Красным. Люди стали там жить из-за запасов антрацита, железной руды и живописных мест. Атаманы не брезговали здесь строить себе имения. Да, Сева вспомнил об этих местах все, что рассказывал о них человек, уже два года спавший с ним комнате на соседней кровати. Антон был отсюда, из семьи бывшего шахтера. Шахту-кормилицу закрыли, потом затопили. Державшийся на идее собственного бытового героизма мужчина сорвался в рыбалку и водку. Героям не место на гражданке. Шкурные, торгашеские девяностые сделали с шахтерами когда-то большого Восточного Донбасса то же самое, что советская власть с казаками. Шахтер всегда, спускаясь в подземелье, знал, что есть шанс остаться там навеки – и хорошо, если сразу завалит или убьет взрывом метана, а то можно же много дней, медленно, от удушья и жажды... Такой шахтер никогда не встанет торговать галантереей – как не встанет и казак. Место их обоих – поближе к смерти. А ближе к смерти на гражданке – водка. Шахтеры еще ждут своего летописца.

В здешних местах города получались из слипающихся станиц, между которыми был вставлен какой-нибудь комбинат; из соединенных в узел асфальтовым пунктиром поселков, которые строились вокруг шахт. Между районами одного города здесь лежат незасеянные поля. У каждого района – свои название, климат, диалект, менталитет. На органичную дореволюционную карту поселений была наброшена стальная, а ныне проржавевшая сеть производствен-

ной необходимости. Органика берет свое, но еще не взяла. Пока что она только опутывает травой забвения брошенные остовы цехов – и картину эту пока трудно принять за картину возрождения старого мира. Неумолимая логика грузоперевозок и трудовых отношений связала старый мир бечевками советских дорог, но теперь их почти не видно, выступили наружу неизбывные красоты мест.

Для замыленного взгляда степь скучна. Близ Ростова и южнее, к Краснодару, земля лежит плоско, и взгляду до горизонта не на чем задержаться, кроме лесополос, которые в итоге горизонт и заменяют. Но сотню километров на северо-запад – и степь натывается на широкий хвост Донецкого кряжа, начинает волноваться холмами, трескаться оврагами, ломаться балками. Здесь впервые появилось ощущение путешествия, хотя всего-то сто километров, но заложенная в пейзаже сюжетики мира уже изменилась.

Часть заднего сиденья в вылизанной старой «четверке» отрезали мощные вертикальные планки для каких-то садовых нужд. Сева сидел где-то под этими планками, остальное пространство занимали дети – девочки примерно двенадцати и семи лет. Дети не двигались. Машину вел крупный обстоятельный, в очках, отец семейства. Бледная проглотившая аршин мать смотрела строго перед собой. Никто не произносил ни звука, радио не работало.

Сева обычно издалека видел, набит ли салон, – и даже не пытался, если полон. А дети оставляли большой просвет – и он поднял руку. Когда садился в машину, у него никто ничего не спросил, Сева просто назвал следующий пункт – Каменск. А потом некоторое время ерзал – молчание казалось неестественным. Как нарочно, вспомнилось, что, по канонам автостопа, молчать неприлично – тебя как бы и взяли, чтобы водителю не скучно было одному, чтобы не дремать за рулем. Но через несколько минут Всеволод расслабился. Произнести здесь слово – все равно что громко засмеяться в вековом лесу.

Возникло ощущение, будто он уже давно едет, смотрит в окно, и под ним время от времени меняют машины. И остается только время от времени отвлекаться от пейзажа и не без интереса разглядывать новых попутчиков, чьи отличительные черты, благодаря неизменности кадра и запертому пространству салона, сразу отливались в атмосферу с какими-то особыми, действующими только здесь правилами.

Вдруг появилось ощущение мальчишеской гордости. Вот, он едет в машине по совершенно незнакомому миру. Поездка в машине дает ощущение, что жизненный опыт прирастает. Это осталось из психологии семьи, в которой никогда не было автомобиля. Как хорошо – сидеть здесь, смотреть в бездну незнакомого мира и делать вид, что все как обычно, что ты уже даже не замечаешь этих утомляющих обстоятельств и перемен.

Кто это сидит со мною в машине – дословный народ, которому для счастья не надо ни слова, ни жеста, или прагматики, скряги, которым лишнего движенья без повода жаль? Да, скорее всего, зажиточные мещане. Одеты прилично – сорочки, блузки, – но так, будто они отдыхали на параде.

– Думаешь, хватит этой справки? – вдруг произнесла жена, не поворачивая головы.

Ответа не последовало, но казалось, он должен быть. Сева переводил взгляд с затылка на затылок – и ничего не происходило. Какой тут толстокожий мир.

Не такой уж толстокожий, раз тебя подобрали, правда? Но почему они его подбирают? Может, он думает, что за деньги везет? А может, из обстоятельности. Вон он – едет семьдесят километров в час, такое ощущение – чтобы ничего не пропустить. Почему именно эти люди подвозят? Не кажется ли тебе, Сева, что жизнь складывается из людей, которые тебя случайно подбирают – и тем самым оказываются неслучайными? Вы не выбираете друг друга, вы просто оказываетесь за одной партой, в одной комнате общежития, в одной машине. У вас нет относительно друг друга никаких планов. Вы проводите друг с другом минуты, часы, месяцы, годы – и характер связи между вами почти не меняется. Только в какой-то момент оказывается, что других людей в твой жизни, в общем, и нет. Но и эти люди – разве они в твоей жизни? Они

просто в какой-то момент проживали, крутили баранку рядом. А сейчас и вовсе забавно: они все меня везут – а что делаю я? А я бегу от них, шагаю через них. Они помогают мне оказаться там, куда никто из них даже не думает двигаться. Справедливо ли это?

– Да, – ответил отец семейства.

Сева успел забыть, на какой вопрос тот сейчас ответил, и некоторое время вспоминал. «Эстонцы, что ли?» – подумал он.

Автомобиль уже въезжал в низину Каменска. Трасса шла через весь город в качестве центральной улицы. С дороги повернули к воротам запертого гаража, и мотор замолчал.

– Большое спасибо! – бодро сказал Сева, вылез из машины и зашагал назад к обочине.

– А ты куда едешь? – спросил его в спину мужчина в роговых, как теперь видно, очках и свежей, но примятой сорочке.

Сева коротко обернулся:

– В Петербург, – и не стал дожидаться реакции, двинулся вдоль трассы к выезду из города.

Некоторое время он чувствовал взгляд на своей спине. Позади как будто что-то происходило – тяжелые механизмы чужой психики зачем-то пытались заново сформировать мнение о случайном попутчике.

6

Семьсот метров по прямой – и нет больше Каменска.

Пока шел, жара придавила. Прошибло потом. Куда-то делся ветер, вокруг ни тени, солнце добросовестно пропекало поверхность. Из степи шел густой травяной дух. Сева утерся рукавом. Он помнил это ощущение. Бабушка брала его лет в шесть-семь собирать землянику. Вместо жужжания машин там жужжали насекомые.

Поле начинается за перекрестком. На той стороне АЗС с какой-то самопальной вывеской. Сева увидел будку туалета и направился туда. К дыре подойти невозможно – загажено, и жара чуть ли не вскипятила это все дело. Даром, что зашел за стену, Сева отливал на природе, копошась взглядом в пожухших, усохших от ветра и солнца сорняках.

Вечная форма жизни. Запылены, пропитаны парами тяжелых металлов, пропахли бензином и высококонцентрированным забродившим говном, вытоптаны ногами и шинами. Но попробуй, домашний мальчик, выкрутить этот жгутистый стебель: большее, что ты сможешь, – оторвать листья. Это невеликая потеря: суть сорняка – будылка, которую можно разрубить, но не уничтожить. Можно спалить, но горит она плохо. Зато она сильно хочет жить – жить свою вонючую, ни на что не претендующую жизнь. И при этом утром на нее, как и на самые благородные растения, ложится божья роса.

А метров через сто начиналась пшеница. Набежали облака, приглушив накал света, дунул ветер – и Сева пошел до поля без оглядки на машины. Золотистая нива медленно вытекала из-за лесополосы. Уборка вот-вот начнется, колосья уже тяжелые, согбенные. Сева не стал сходить с обочины, а так и смотрел с небольшой насыпи на береговую полосу метрах в пятнадцати, на которую лениво набегали шелестящие волны. Смотрел и думал, что вот такой была красота еще до того, как ее догадались отделить от вещей, сделать ее чем-то самостоятельным. Красота – это вспаханное и засеянное человеком поле, на котором сам по себе вырастает небывалый урожай. Теперь, когда цивилизация была так легко оставлена Севой, эта красота проступила. В городе и близ него слишком много бессилия человеческого мира, застывшего в состоянии разложения. Растрескавшийся асфальт и вывороченные бордюры, плитка, покрывающая не более пятачка перед новым фирменным магазином, а дальше – ничья земля. Много ничьей земли. Она начинается прямо перед порогом и заканчивается у другого порога. Любая низость там может сосуществовать рядом с красотой, и это сосуществование – торжество бессилия. А здесь

– засеянное поле. И от него прилив радости, как будто наша футбольная команда выиграла – справилась, присвоила эту ничью землю, сумев ответить своим даром на дар природы.

И ничто никуда не движется. Потому и дорога – одна на весь обозримый мир. Оглянись вокруг, посмотри, сколькими путями пройти нельзя, чтобы не сгинуть, и только по ней, единственной, – можно. Ведь если дорога, значит, кто-то по ней проходил. Но она для нас, оседлых донельзя, – на самый крайний случай. Только для тех, кому жить надоело. Кто вытряхнут из корзинки. Никого на дороге не встретить. Машины не в счет – их скорость выражает только желание быстрее вернуться.

Сева смотрел вокруг – и ему казалось, что он никуда не уезжал. Этот мир был знаком ему с детства. Эта звенящая тишина, в которой слышен лишь процесс твоего старения. Эти пыльные тополя, крениющиеся от ветра на один бок. Редкие люди, глядящие друг на друга мельком за отсутствием интереса. Эти случайные, дающиеся через силу слова, которые, если бы не были просьбой, не произносились бы вовсе. Можно попросить подвезти, если человеку ничего не стоит, но попробуй выпросить интерес к тому, кто ты, зачем живешь, какие дилеммы носишь в буйной голове. Нет, мы ничего друг другу не должны. Смотришь на эти тополя и понимаешь: они тоже ничего тебе не должны, поэтому такие пыльные. Ты тоже, в общем, можешь сесть вот прямо здесь, прямо на землю – и отдохнуть, даже выспаться, можно смотреть на автомобили, расслабиться так, чтобы все внутренние токи замерли и только глазные яблоки иногда поворачивались. Никто тебя ни в чем не обвинит. Погонят работать? Ну поработаешь, покидаешь инертные материалы. Но только закончишь, как вернешься на исходную: звенящая тишина, в которой надо найти причину, чтобы шевельнуться, найти силы, чтобы приподнять ее. Как огромный родительский диван, на котором тебя сделали и под который что-то закатилось, – но поскольку ты не можешь вспомнить, что именно, то и силам взяться неоткуда. И ты сидишь, сидишь, смотришь на проезжающие машины, ветер развеивает твои волосы. Однажды доходит, что прерывался только тогда, когда тебе в зубы совали лопату.

Это был знакомый мир обреченного одиночества внутри природы. В стертой крышке даже больше человеческого, чем в человеке, – потому что она стерта, она выполнила свое предназначение. А о человеке трудно говорить так уверенно. Его слова его не выражают. Его дела ему навязаны. Его существование – от бессилия. Его отношения – примитивны. Его надежде не за что зацепиться.

Ни у кого ни с кем ничего общего. Ты так легко водишь сейчас глазами по миру, но взгляд – слишком слабая скрепа. Никто никому ничего не должен. И органы чувств перестают фиксировать вкус безумия. Потому что развалившийся на части мир безумен. Позы, выдающие заброшенность людей и предметов. Они либо действительно считают, что их никто не видит, либо им плевать на все, что способно видеть. В распавшемся мире каждая его часть безумна. Безумны поучения людей, чьи ежедневные разговоры начинаются с оставленной не там кружки, а заканчиваются аргументированным унижением. Ты можешь запирается в туалете с книжкой – и это так же безумно, как убивать кошек, раскручивая их в воздухе за хвост. Ты можешь держать ладонь над пламенем, пока мясо не выгорит до кости, – и это не менее безумно, чем подстраиваться четвертым в подвале к запуганной залетной шмаре. Безумие обособленности уравнивает праведников и грешников. И нет такого поступка, который мог бы вырваться за пределы этого безумия. Ни крайняя жестокость, ни крайняя нежность не покидают пределов одиночной камеры. Этот тихий пейзаж – такое же впитывающее всю твою энергию вязкое пространство.

Вот только два пасущихся у обочины козлика все портят. Божьи создания с изумленными энергичными глазами. Один черный, другой тоже черный. Один щиплет траву, другой посканивает, цепляет первого. Вот они – совершенно нормальные существа, только – козлы, конечно, и спроса с них нет. Потому и любишь ими, как рыбками в аквариуме, – хороши, да не про тебя. Но глаз все равно радуется, и жить – легче.

Потому что, когда Сева додумывался до конца о том, что он видел даже в пейзаже, то оказывалось, что это что-то вроде насилия. Природу устраивает все самое страшное, что с ним происходит. Это мешало ей наслаждаться.

Искажено восприятие природы. Смотрит сейчас Сева на поле незрелой кукурузы, потом – на поле подсолнечника, на котором только начинают появляться цветы, – и думает о том, сколько он наворовал этого добра.

Сгорбившись, под палящим солнцем, царапаясь о высохшие будылки, с льняными мешками пробраться в середину поля, расчистить поляну и набивать семечку палкой из огромных шляп, на срезках выдающих липкую растительную кровь. И присесть от шума проехавшего автомобиля.

Казалось, что это не закончится никогда. Сыплешь в мешок и сыплешь – а он все пустой. Этот голод не утолим подсолнечными семечками.

Старший сын в многодетной женской семье, оставшейся без отца беззащитной и на грани нищеты. Каждое лето с тринадцати лет – наемный труд в колхозах. Сева перепробовал все виды культур. В окрестностях дома было два места, где можно было наниматься на суточные работы, за которые расплачивались плодами полей. На одном перекрестке брали корейцы – они выращивали лук и овощи. Весь день на карачках, зато ездить можно было уже с мая. Радость у корейцев только в конце июля – арбузы, но на них работать невыгодно: арбузов много не привезешь. В другом месте возил убитый «пазик» на совхозные фруктовые поля: яблоки, слива, абрикосы, вишня. Было редкой удачей попасть на черешню. Впрочем, часто редкой удачей было сесть в этот «пазик» – в голодные годы претендентов всегда было втрое больше, чем мест в автобусе. И если будешь пропускать вперед, никогда внутри не бывать. Сева расставлял локти, шел плечом, напирал, оттискивал напористых бабушек. И залезал, зависал на большом пальце одной ноги внутри человеческой массы – и не понимал, как эти люди на этом транспорте поедут назад – когда у каждого будет по три набитых сумки. Но все и всегда возвращались. А иногда дверь закрывалась прямо перед носом – и в шесть утра (вставать надо было в пять) он был уже абсолютно свободен и несчастен. Он шел домой, придумывая оправдания.

А если попадал, доезжал до поля и работал, то эти яблоки стояли потом перед глазами, на что бы ни смотрел. С сознанием что-то происходило. Мгновенье не кончалось – в каждый момент оно было одним и тем же. Но день – пролетал: мгновенья не суммировались, вспомнить было нечего. Нужно было просто терпеть.

До сих пор, встречая плодовые деревья, он их так про себя и называл – «плодовые деревья». Ему казалось, что он все еще не видит их красоты – так рыбаки не очень охочи до рыбы. Было только одно легкомысленное дерево – тютюна. Никому она не нужна, вечно валяется под ногами, нависает, угрожая светлой одежде. И только детвора перепачкается в ней по уши – и рада.

А может быть, подумалось Севе, красота не открывается без труда? Разве красота доступна только тем, кто не может с первого взгляда отличить, с гнильцой яблоко или нет? Может быть, я и сейчас люблю, но еще мало знаю о своей любви. Как можно не любить то, что знакомо до самых волокон? Труд ведь не убил меня, правда? Да и не запредельным он был. Тут вот идешь в жару – и тело свое нести трудно. Если вот это научиться терпеть, то дальше – легче. А то послушаешь себя – можно подумать, что каторгу мальчик прошел. А я просто маме помогал.

Нет, все-таки не просто.

Это была еще и жертва, приносимая одному поселившемуся в их жизни чудовищу – чтобы оно молчало. Нужно было много работать, чтобы иметь право жить спокойно.

Сначала это чудовище было просто отчимом – злобной и ленивой тварью, питающейся кровью близких. Чудовища такого рода заводятся, как паразиты, в нищете и унижении. И после

того, как оно появляется, преодолеть эти состояния уже практически невозможно. И скоро уже невозможно будет узнать тех, кто его впустил.

Оно хочет быть сытым, живя в твоём доме. Оно хочет, чтобы ты работал, чтобы оно было сытым. Оно хочет, чтобы тебя не было после того, как ты хорошо поработаешь, – чтобы насладиться моментом сытости. В этот момент жизнь сделана – ничего нового в ней уже не будет.

Запомни главное: если не ты, значит – тебя. Если ты, значит ты – говно, которое надо смешать с говном, а если тебя, значит, завали свой рот и иди делать, что тебе сказали. У нас тут не обсуждение различных точек зрения. У нас тут насилие, отдыхать от которого можно только в запое. Недельки две не различая ночи и дня, обсыкаясь и заблевываясь, но в любом состоянии умоляя, прося и требуя то, что якобы от него спрятали. Мы все спрятали от него самое главное. Мы все виноваты в том, что оно несчастно. И оно нас за это будет топтать. Если мы не найдем ничего, что сильнее.

Нет, не в труде насилие, а в том, что ты видишь камень, которым завален выход на свет, – и до поры до времени тебе его не отодвинуть. Насилие в том, что труд – лишь ради того, чтобы не было хуже. А лучше и быть не может. И твоя родная мама внутренне с этим согласилась. Что же ты наделала, мама! Как же ты просмотрела такую подмену!

Если кто-то кого-то и предал, то мы сами – надежду. Мы ее оставили. Нам для этого хватило одного алкоголика-тирана в квартире. Невеликие испытания, если вдуматься.

Однако достаточно для отказа. Нет, я не буду иметь друзей-предателей. Нет, я не буду бандитом – ни с тобой, ни с другим. Нет, ты не можешь называть меня чмошником. Нет, мне не нужны женщины, которые во мне сомневаются. Нет, ты не можешь мне давать советы. Никто не может мне давать советы о том, что для меня лучше. Нет, я тебе ничего не должен. Хорошо, тебе, именно тебе – я должен, и всегда буду, но я сам решу, что и сколько именно. А ты не смей мне даже заикнуться о моем долге. Нет, этот человек мне неприятен. Я не обязан тебе ничего объяснять. Нет, я хочу жить иначе. Да, в таком случае не надо никаких людей. Люди – подтянутся.

Сева шел через знакомый ему пыльный пустой мир, где редкие случайные люди говорят слова, которые ничего о них не говорят. Рубашка прилипла к спине, в ушах звенело. Он не думал о будущем ничего. Будущее – невообразимо. Мысль о нем – роскошь, на которую не хватает великодушия.

И вдруг в тишине зазвучала мелодия.

7

Сначала песня была чуланом, в который можно было незаметно спрятаться. Но как только глаза привыкали к темноте...

Песня очерчивала пространство, в котором можно было жить. Она давала готовую эмоцию, до которой еще нужно было дорасти. Хорошую незнакомую песню вертишь, как огромную перчатку, – и видишь, какого размера у людей бывают души. А таких, как твоя, сюда бы можно было насыпать десятка два.

ДО-бры-е ЛЮ-у-у-ди, – пел Сева посреди дороги. —
НЕ па-ни-мА-ют.
ПрА-ав-ды не ЛЮ-у-у-бят,
ЖЫ-зни-не-знА-ют...

Голос в поле звучал непривычно естественно. Сева привык, что в городе песня билась, как в комнате, обитой подушками, – как сумасшедшая. А тут, в открытом пространстве, она

вдруг полетела во все стороны. Сева пел и чувствовал, как его случайную песню впитывает весь мир.

Песня приходила сама. Сейчас он вытягивал манерные гласные и чувствовал, что струя песни наполняет его, как полого холщового человека на ярмарке – того, что нетвердо стоит и машет руками до тех пор, пока через него проходит струя воздуха. Он легко входил в состояние, в котором он уже не знал в себе ничего, кроме песни. Оттенки голоса, звучащего в вязкой тишине степи, переходы с ноты на ноту, длинноты, интонация, которая, кажется, передает даже выражение лица, – это все, что он сейчас собой представлял. И этого было с избытком.

Музыкального образования Сева не имел, как и абсолютного слуха. Он в музыке понимал, пожалуй, только одно – мелодию, которая достается голосу. Когда начиналась знакомая песня, он не мог ее узнать – до тех пор, пока певец не начинал свою партию. Вся остальная музыка была для него лишь аккомпанементом, который может быть любым. А вот мелодия любой быть не может – потому что она и есть песня. Мелодия – обнаруженная гармония, окольцованный ее гением мир. Справится ли голос с этой гармонией? Что он о ней думает? Принимает ли он ее? Прибавит ли что от себя или будет, как школяр, твердить назубок?

Жи-те-ли У-у-у-лиц
 Пря-чу-т-ся в ще-ли-и
 Стра-шны-е двЕ-е-е-ри
 ЗНА-ют ку-да.
 Кто те-бя слЫ-ы-ы-шит?
 Кто те-бе ве-рИ-и-ит?
 И не-сут те-бЯ-а
 Злы-е по-ез-дА...

И снова штопором вверх на последней гласной, потому что от всего можно оттолкнуться и лететь дальше, затягивая в свои петли столько, сколько можешь унести. Голос должен быть способен показать бездну человека – чтобы было непонятно, как из одного края человека добраться до другого, – только голос знает такие вещи. То урчит, то шипит, то звенит в зените.

Вот смотришь вокруг: слева брошенный коровник, под ногами пыльный щебень, под дорогой стертая крышка, чуть впереди маленький надгробный камень на месте аварии, прямо над ним облако, клубящееся из-за горизонта, а через него летят вороны. Возьми из этого хаоса три глядящих друг на друга предмета – и они зазвучат, как орган в соборе, возьми другие – зазвучит пастушеская свирель, третьи – обнажится красота гниения. Вот так глянешь на случайную картину – и увидишь в ней то рыцарский роман, то поэму, то мелодраму, то путешествие, а то и вовсе – сюжет воспитания. Мелодия всесильна, она может вывернуть куда угодно, всему найдет место, разрешит в гармонию даже консервную банку. Она найдет, с чем ее закольцевать. Мелодия отрицает одиночество и случайность вещей. Мелодия не знает абсурда. Во всяком случае, поешь и чувствуешь: есть надежда, что не существует обделенных гармонией. Поешь незнамо что – и будто находишь способ то ли себя добавить в мир, то ли мир – в себя, будто нашел к нему путь, через него дорогу – и теперь, даже закрывая глаза, не можешь его не видеть, он уже записан в подкорку каждым камнем, на который наступил. Поешь незнамо что – а миру не хватало маленькой смертной части твоего проникающего во все поры голоса, чтобы превратиться из свалки, где рядом раздавленная собака с вывернутым мясом на трассе и сияние из-за облака, – в создание Божие. Поешь – и мир более не кажется незнакомым. А ты его не видел, конечно, еще, но как будто прощупал своей мелодией наперед. Или даже как будто вдел в него мелодию, как руку в перчатку. И теперь можно смелее двигаться на ощупь.

8

Около Севы затормозил автомобиль, как только он поднял руку. Серый «Опель» смотрел на него, как серый волк, – кажется, сейчас заговорит. А что – посмотрите на морды автомобилей, у них у всех есть выражения, которые можно представить даже у людей, не говоря о животных.

Сева нагнулся и поглядел в окошко. На него черными веселыми глазами смотрела неровно седая голова с костистым лицом. Приподнятые брови придавали лицу выражение нечаянной радости от встречи кого-то, кто мог быть старым знакомым.

– Вы знаете, – сказал Сева в эти открытые глаза, – вы так вовремя остановились! Можно с вами?

– Залезай, кидай гитару на заднее, – голос мужчины был скрипуч не по годам. Он выглядел озорным мальчишкой, с этими бровями. Седина на нем смотрелась слишком ранней старческой меткой.

Открыв заднюю дверь, чтобы положить инструмент, Сева увидел еще одного человека. Его коленки торчали высоко над сидением; было видно, что мужчина сидит очень неудобно, но при этом – абсолютно неподвижно и стараясь не видеть ничего живого. Бледный, замученный, нечесанный, он смотрел на пейзаж за окном так, будто автомобиль двигался.

– Здрасьте, – сказал Сева, быстро захлопнул дверь и сел вперед.

«Опель» тронулся.

– Обычно на трассе приходится долго стоять с протянутой рукой, а тут такой подарок.

Сева глубоко вздохнул, как будто вдыхая поглубже воздух мира, в который только что попал. Глянул на прокопченные мослы, сжимающие руль. Примерно так выглядели стебли сорняка возле придорожного сортира. Глупо пытаться представить, что кто-то может выкрутить эту руку. Но и восхищаться ею тоже в голову не придет.

– Играешь? – его голова затылком кивнула в сторону того места на заднем сиденье, где встал чехол.

– Не столько играю, – вздохнул Сева, – сколько пою.

– И хорошо получается?

– Если у меня в жизни чего и получается, то это петь, – медленно и весомо проговорил Сева.

– ...А чего поешь?

– В основном бывший рок: «Кино», «Наутилус», «Аукцыон». И сам кое-что придумываю.

– Ага. Знаю я эти имена, – и, как будто секунду подумав, стоит ли об этом, спросил: – Знаешь, что такое Сайгон?

– Это ж в Питере? – задохнулся Сева.

– Да, это было такое значное местечко на углу Невского и Владимирского – я там прожил года три.

– Вы играли?

– Нет, я крутился.

– Семидесятые?

– Самое начало восьмидесятых – БГ, Майк. Цоя я помню плохо.

Сева застыл и не отрывал от него глаз.

– У меня волосы такие были, – он махнул ладонью ниже плеч. – Там простым работягой было выглядеть не очень прилично.

– Тогда я, наверное, похож на работягу, – усмехнулся Сева.

– Да, на работягу, у которого выходной. И он решил на выходных мир посмотреть, гитару вот взял.

– Но вы почему-то притормозили... Как вы оказались там?

– От земли мы тогда отрывались. Не было такого колхозника, чтобы не мечтал стать горожанином. Все, кто был на что-то способен, рвали со своими корнями. Поэтому там – в колхозах и на заводах – оставались только те, кто не рыпался, не тянул. Вот такой у нас складывался образ народа, из которого мы сами вышли, – он снова специально повернулся, чтобы Сева посмотрел на его усмешку. – В общем, я там после армии попытался поучиться в Горном институте, жил в общежитии на Васильевском острове.

– А почему Горный?

– Так шахты у нас тут вокруг. Папа подумал, что для сына это будет перспективно. Ты знаешь, сколько тут шахтеры получали в советское время? Рублей пятьсот. Нигде в стране таких зарплат не было. Тем более Донбасс всегда тянули, поддерживали – вроде тут условия для добычи тяжелее: пласты узкие. Вот папа и задумался о моем будущем. Он тогда в Каменске работал на оборонном заводе, который делал – да до сих пор делает – эти... как их? – полиамидные волокна для бронежилетов. То есть я и пролетарий, и колхозник в одном лице – потому что мама из станицы неподалеку. Но хотелось же в общество! А первое, о чем ты там узнаешь, – что с народом тебе, так сказать, как-то стремно. К тому же дети рабочих сразу видели «пипла» – и начинали тебя люто ненавидеть. А комсомольцы становились злыми. Мне вообще кажется, что тогда в музыку многие попали случайно. Их вытеснили в музыку. Представь, что вот, например, у тебя длинные ноги и ты сутулишься. Или просто немного похож на идиота: прическа неаккуратная, гримасничаешь. Я уже не говорю про какого-нибудь гея. У тебя и без того, скорее всего, будут неприятности. Каждый день будут проверять документы, задерживать, читать мораль, чуть дернешься – вылетит отовсюду. И куда пойдешь? Конечно, в музыку, в тусовку, где тебя научат рвать все связи. И очень скоро тебе захочется побыстрее умереть.

Теперь он не поворачивался – он глядел на дорогу так, как будто закончил.

– У меня музыка не очень ассоциируется с желанием умереть, – осторожно сказал Сева. – А творчество?

– Да, и я писал. Меня хвалили. А как держаться за это? Ну вот вынырнул я из тумана, написал пару остроумных фраз – и снова в туман. И жизнь не слушается. Я даже архива своего не имел, все бумаги по приятелям рассыпались... Мы выросли в культуре, где все герои – бунтари. Это ж бомба! Совок старательно выращивал людей, которые были обречены похоронить совок. А потом ты трезвеешь и начинаешь изгаляться. Если свободный человек крадет у раба, он делает мир лучше. Я со знанием дела, между прочим, говорю – имею судимость за кражу. А вот за то, что тремя девчонками торговал в общежитии, – не имею. А еще я помню, как мы на радостях с корешком, которого я знал буквально пару дней, с разбегу врезались головами в железный забор. А наутро я проснулся в своей квартире, а когда посмотрел в зеркало, увидел, что у меня проломлен череп, лицо залито кровью, один глаз вышел из орбиты. А один большой поэт написал на мою смерть стихи. Друзья думали, что я зимой замерз в подъезде. А я выжил. И тихонько решил соскочить – уехал в Каменск, где в это время совсем поехала крыша у моего бедного братика. Да, братик? – весело спросил он, глянув в зеркало заднего вида. – Братик у меня ученый. Да только как может быть ученый в Каменске? Тут пока нет ни домов для ученых, ни магазинов, ни женщин для них тут специальных нет. Совершенно не приспособленный для науки город, я тебе скажу. И стал как-то мой братик на людей бросаться. Вот это-то вот дыхла. И мне мама тогда написала: приезжай, мол, либо его убьют в результате его непредсказуемой агрессии, либо закроют в психушке. А у меня такой был период тогда в жизни, что оставалось только замерзнуть в подъезде. И я понял, что русский рок, он здесь – в Каменске.

– Как вас зовут? – спросил Сева после паузы.

– Гера, Жора, Геродот или Георгий – выбирай.

– Меня зовут Всеволод, – слова произносились медленно и обстоятельно.

– Ну и что, Всеволод?
– А откуда же тогда такие хорошие песни взялись?
Геродот подумал и резко рассмеялся.
– Если бы я точно не знал, что их писали такие же, как мы, я бы в это не поверил! Они, сильные, иногда, видишь ли, незаметные. Это мы тарахтим...
– Ему надо здесь выходить, – вдруг послышалось с заднего места.
Сева не успел ничего подумать.
– Не обращай внимания, – быстро ответил Жора.
– Ему надо здесь выходить, – повторил сзади глухой слабый голос.
– Кстати, это он сказал тебя подвезти, – сказал Георгий. – Если бы не он, я бы, может, и внимания на тебя не обратил, – он повернул лицо и показал просветы между зубами.
Помолчали.
– А вы все-таки остановите, – вдруг произнес Сева.
– Чего ты?
– Да все в порядке. Давайте я здесь сойду?
– А дальше чего?
– Мир не без добрых людей. Спасибо вам, – и Сева протянул на прощанье руку этому симпатичному человеку с веселыми глазами и старым лицом, выхватил с заднего сидения инструмент.
Человек сзади изучал пейзаж за окном остановившегося автомобиля.

9

Небо заволокло облаками – нелишнее облегчение. Краски проступили более ярко, зелень теперь шевелилась не обморочно, а осознанно и хмуро, как полевой работник.

Сева с минуту постоял на обочине, вынул из сумки атлас и присмотрелся. Он должен быть примерно на границе с Воронежской областью. Ну что ж, триста километров позади, впереди еще тысяча четыреста. На часах четырнадцать десять.

Сева обернулся и поднял руку. Синяя «девятка» прошла мимо.

Странно было осознавать, что он больше никогда не увидит этих людей. Это действительно странно. Мелодия всегда замыкает свой круг, а жизнь необратимо идет и идет вперед, перешагивая через людей, места. Она не собирается, не планирует куда возвращаться.

Вдруг Всеволод осознал, что метрах в ста впереди от него стоит у обочины автобус. Сева ускорил шаг и стал вглядываться. Фигуры рядом с автобусом. Отлить, что ли, вышли? Нет, тогда бы я его не догнал. У них, кажется, с колесом что-то.

Сева немного сбавил шаг, чтобы не выглядеть излишне торопливым.

Автобус – это вариант. Даже не привычный междугородный «Икарус», что-то более крупное – такое ездит на большие расстояния. Ох, как бы хорошо... Только бы не на Украину, не в Волгоград... Нет, это все другие трассы, а эта – эта на Москву.

Двое мужчин с видимыми усилиями снимали заднее колесо. Скат упал им под ноги, и один из них, низенький, ладный, с волосами ежиком, склонился над ним. Другой, с пузом, с развевающимся на ветру редким русым волосом на облетающей голове, с висячими усами, – смотрел сверху вниз, широко расставив руки, и задумчиво говорил отборным матом.

– Да, – кряхтя, отвечал снизу напарник, – это надо было умудриться.

Сева стоял уже рядом, но на него никто и не глянул. Он взял небольшую паузу, глядя на крышку, и тихо спросил:

– А вы куда едете?

Дядя снизу поднял голову:

– В Москву, – пузатый себя такими мелочами не утруждал.

– Не подвезете?

На этот вопрос, было ясно, должен быть ответить большой человек.

– Иди, – ответил он, запнувшись и глядя на скат, будто вспоминая забытый язык. Качнул рукой к открытой двери в салон, и неожиданно у него сложилось:

– Там есть свободные места.

– Спасибо! – сказал Сева и сдержанно вошел в салон почти нового автобуса «Мерседес». Внутри все клокотало от радости.

Изнутри веяло прохладой кондиционера, места здесь были лежащие. Спинка каждого из сидений опускалась до горизонтального положения. У лежащих вокруг людей даже было что-то вроде постельного белья. Сева прошел в самый конец салона – пустыми оказались шесть или семь мест. По пути узнал, что прибытие в Москву по расписанию в шесть утра. Разместился по-царски, со стоном в костях. Выдохнул.

Можно подумать, годы в пути. Люди, выходившие одновременно с ним утром на работу, между прочим, еще не вернулись. А путешественник уже устал, потому что он идет тем путем, который его меняет.

Автобус тронулся минут через десять.

На верхней панели заработал небольшой телевизор. Появилась картинка – какой-то фильм, видимо прерванный, поскольку начался не с начала. Сева давно не видел кино. В общезжитии телевизора не было. Нет, можно было найти комнату с телевизором, этаже на втором или третьем, где жили уже совсем не общажной жизнью домовитые взрослые люди. А у них на девятом телевизоров не было. Самое ценное, что тут бывало, это еда. А замок в двери можно было открыть вилкой.

В фильме играла знакомая музыка. Да, это «Наутилус» – только композиция из позднего странного альбома. Парень, из приехавших, идет по большому городу – подворотни похожи на питерские, – встречает людей, ищет брата. Звук доносился плоховато. Но в какой-то просвет, когда двигатель на минуту притих, пока автобус шел на набранных оборотах, второстепенный персонаж сказал герою: «Город – это страшная сила. Он засасывает. Только сильный может выкарабкаться... Да и то...»

Отвернулся, посмотрел за окно. Дорога все-таки – спокойное состояние. Ты уже ушел и еще никуда не прибыл, и куда ни глянь, на кого ни глянь, во всех узнаешь себя, каждого примеряешь. Привычка все примерять выдает деревенщину – это Сева и сам успел о себе понять. Мегполис знает, что такое чужой. Сталкиваясь с чужим, ты не пытаешься проникнуть в его мир, не пытаешься примерить его на себя, ты говоришь себе: смотри, какой интересный вид, – затем, если есть настроение, разглядываешь его и уходишь. Либо же наступаешь на него, как на таракана. Ни секунды не думая о том, каков он, что он хотел сказать в жизни – то же ли самое, что и я? Это деревенщина думает, что весь мир примерно такой же, как он, что, если постараться, его можно понять и вместить. Горожанин не надеется быть понятым и понять первое встречное странное существо. А бабушка провинциалка смотрит на индусов, содрогающихся прямо на улице в тантрических ритмах, и волнуется, как бы внучки не встретили хулиганов.

А почему бы и не деревенщина?

Сева вдруг осознал, что голоден. Полез в сумку, достал прозрачный пакет, стал медленно жевать бутерброды с теплой от впитанного солнца колбасой. Смахнул крошки, и через минуту пришла дремота. Откуда-то вышла одна отложенная мысль.

Его ухода никто не заметил. Его никто не проводил, никто вослед не плакал, не просил присесть на дорожку. Никто не перекрестил ему спину, как – он знал это – часто делала мама. Не было никаких напутствий. Не случилось такого события, как уход Всеволода из мира, в котором он прожил два года. Не наработал он на это событие. Его исчезновение, на которое он обрек этот мир, ничем не выделялось из бесконечной череды его отсутствий по самым невинным поводам – а значит, и разговаривать пока было не о чем.

Уходишь? – Ну пока.

Вспомнилось, что несколько раз так прощался, четко осознавая, что не увидит больше человека, – и как будто упивался фантастически несправедливым несоответствием боли и этого бледного «пока».

Я смотрю в темноту-у.
Я вижу огни-и.
Это где-то в степи-и.
Полыхает пожар.

Ох, правильную песню поберег режиссер на финал.

Он, я знаю, не спит:
Слишком сильная боль.
Все горит, все кипит,
Пылает огонь.
Я даже знаю, как болит
У зверя в груди.
Он ревет, он хрипит.
Мне знаком этот крик.

А ученый, конечно, удивил – откуда он знал, где я должен выйти?..

II. Женская глава

*Без любви и без страсти
Все дни суть неприятны...*

В. К. Тредиаковский. «Езда в остров Любви»

1

А во сне Сева стоял возле действующего героя кинофильма Данилы и комментировал его действия.

Вон Данила-то какой крутой. Совсем не напрягается, когда валит людей. Раскрывается прямо в эти моменты. Я бы так не смог, конечно.

Но что же это женщина за тобой не пошла, Данила? У тебя же долларов полные карманы, а на нищую несчастную женщину не хватило. Как так? Есть о чем подумать, – как считаешь?

Но нет, Данила не из тех, кто думает, – Данила действует. Вот ловит он в конце попутную машину – и бежит.

Ну тогда я за тебя подумаю. Так подумаю за тебя, дорогой Данила, что мало тебе не покажется.

Ты убог в своей силе, Данила. Ты – нехитрое образование. В одной руке пекаль, в другой – диск Бутусова, верный член посередине. Наверное, ты думаешь, что именно так и должен выглядеть мужчина. Ты не одинок в своем образе мыслей, не одинок. Однако выдам я тебе свою заветную мыслишку – вот эта некрасивая женщина, которая с тобой не пошла, по-моему, гораздо в большей степени женщина, чем ты – мужчина. Да, ты не боишься ствола, у тебя руки сильнее, но у тебя коленки трясутся от сложности, ты вон бежишь от нее, отстреливаясь из обреза, роняя пачки купюр, – а она живет с этой сложностью каждый день. У тебя бы мозг лопнул, если бы ты попытался представить, как она живет. Герой, обосраться аж.

Куда бежишь, Данила? В Москву? Весь Питер уже прохавал, да? Посмотрел бы я, как бы ты пеленки гладил для своей дочки.

От вида мужчин, от звука их голосов Севе делалось смертельно скучно. В их лицах и в издаваемых этими существами звуках, даже в манере чихать он различал тупорылую самоуверенность. Вот я, мол, как чихаю – чтобы, падла, стены содрогнулись! Это потому, что я настоящий, сука, мужик – со здоровенными яйцами! А сейчас я еще сяду жрать, и ты увидишь, как я буду жрать! А потом я еще пёрну, чтобы все слышали, как я необуздан! И заржу. А кому не понравится – завалю. Я, мать-перемать, слово свое держу!

Иди ты в жопу со своим словом, дебил. Если ты – мудака, кому какая разница, держишь ты свое слово или нет.

Режиссер-затейник заставил своего героя слушать «Наутилус», а не Ивана Кучина. Это он придумал, что такие герои бывают. А вот герой не врубается. Не доходит до него пока дух этой музыки, а он делает вид, что ему нравится. Врешь, Данила, – чего там тебе может нравиться? Что ты можешь знать о князе тишины? Вперся ты в культуру со своим зазубренным уставом, потоптался там как бы ради ссучившегося брата – и теперь линяешь в Москву. Монстр режиссера-франкенштейна развалился под действием внутренних центробежных законов в доказательство, что таких существ не бывает. Такие, как ты, на деле гораздо хуже. Они беспричинно злобны и жестоки. Не мы такие – жизнь такая.

Главным средством познания мира для Севы оказалась женщина.

2

Классные руководители отобрали учеников двух девярых классов для подготовки «Литературной гостиной», посвященной русской поэзии Золотого века. Всеволода выбрали ведущим от 9 «Б», от 9 «А» была прислана уверенная девушка Валентина. Сева знал о ее существовании, но внимания на нее не обращал.

Всеволод в это время был влюблен в одну из своих фантазий. Облегчало дело отсутствие контакта с объектом. Развитое приключенческими книгами воображение легко пленял зрительный образ, после чего Сева уже мог упиваться случайными улыбками и убиваться от рассеянного холодка. Это была простая и самодостаточная внутренняя жизнь, которая не пробивалась на поверхность.

Сосредоточившись на внутреннем камертоне, задавшем тональность любовного томления, он сидел в актовом зале на одном из обтянутых серым дерматином и сбитых в линию по пять кресел. На маленькой сцене шла репетиция, которая сейчас не требовала участия ведущего. В этот момент ему в ухо кто-то дунул.

Он повернул голову и увидел недавнюю знакомую Ваю. Она сидела рядом, широко и нагло улыбалась. Он продолжал смотреть.

– Потрясающая реакция! – довольно громко констатировала она.

– В смысле? – уточнил Сева.

– Просто, Всеволод, я еще не встречала столь спокойной реакции на вот это действие. Некоторые, должна я заметить, в ужасе вскакивали с кресел, – она говорила деловито и уверенно.

После трех-четырех легких реплик это уже был один из самых значительных разговоров с женщиной в его жизни. В каждой ее фразе он чувствовал пищу для обдумывания и переживания. И нельзя было не отметить ее элементарной заинтересованности: она явно давала понять, что она его не просто видит, но и как-то читает его выражение лица и манеры. Она делала с ним то, что он сам привык делать с людьми молча. Все здесь было ново.

Они поболтали о мероприятии, которое готовилось на их глазах. Сева подумал, что дальше этой темы, в общем-то, двигаться некуда. Но, предвидя тупик, Валентина спросила, какая книга его в последнее время потрясла. Так и выразилась: «потрясла». Сева как-то даже сел прямее. Какой неожиданный и простой вопрос. Как так могло получиться, что ему никто никогда его не задавал? Разве он не читает книг? Много читает. Но он не мог себе представить человека в своем невеликом окружении, который мог бы задать ему этот вопрос. Разве не очевидно, что рано или поздно такой человек в его жизни должен был зародиться? Сева подумал и назвал: «Полярный конвой» Алистера Маклина. Главным героем книги был крейсер, от экипажа которого остался в живых лишь парень на костылях – и его рассказу о гибели всех, кто был на корабле, не верило очерстневшее начальство. Он остался один на один со всем, что там произошло. Валя попросила принести ей эту книгу. Сева взглянул на нее с недоверием: это уже был перебор, неужели она станет ее читать? Через два дня они столкнулись в фойе школы, и она вновь попросила книгу. Тогда он принес. Затем она поделилась своим впечатлением. Потом они пересеклись где-то на улице, обменялись веселыми репликами. Валя пригласила Севу как-нибудь зайти в гости. Черкнула ему свой адрес. Он зашел к ней месяца через полтора. От предыдущей влюбленности простыл и след. Из мира фантазий он осторожно выходил в мир реальных женщин, не ощущая пока, впрочем, никаких внятных ощущений.

У Валентины было любопытно: большая квартира, много книг, интеллигентные родители-госслужащие, чай с печеньем, разговоры – причем если об общих знакомых, то не об их поступках, но о том, как они предпочитают жить, о том, что они думают по разным поводам. Это был простейший анализ человечности, интереса к которой в мужском мире он до сих пор

не встречал. Сева впитывал как губка. Все, о чем они говорили, настолько не имело отношения к его жизни, что он вскоре почувствовал себя человеком, который стал накапливать мысли впрок. Она рассказывала ему о романах своих подруг, и они, ставя себя на место героев этих романов, впервые выговаривали себя. Валя стала для Севы первым собеседником, но между ними всегда было пространство комнаты: он сидел в кресле, а она валялась на диване, в домашних шортах и свободной футболке. Он видел ее длинные ноги, развитую грудь, но не мог к ним ничего испытывать. Это были неоткрытые земли, и они что-то делали здесь, между людьми, которые уже стали думать, что понимают друг друга как никто.

А однажды она очень просто взяла его ладонь, стала разглядывать линии. Она видела какое-то значение даже в его мозолях от турника. Тогда и он взял ее руки – и стал брать их постоянно. И не чувствовал ничего, кроме плотской нежности. Ему хотелось целовать красивые руки, Сева был восхищен первой попавшей в его распоряжение женской плотью. Но он сдерживался, потому что общение между ними было о чем-то ином, менее ему понятном.

Он мало рассказывал о своем быте – о колхозах, ловле раков, торговле на базаре, домашних хлопотах, но ей было ясно, что он совсем из другого мира. Это подстегивало ее интерес. Она говорила Севе, что он – цельный. Этот комплимент был Севе не очень понятен, но было очевидно, что это – комплимент. И потому он его обдумывал.

Однажды она проводила его в зал, который именно в этот день пустовал: отец в командировке, а мама не совсем хорошо себя чувствует и отдыхает в спальне. Сева не мог представить свою мать отдыхающей в спальне. В один из окончившихся трудовых дней он устроился в углу ее большого дивана и почувствовал, что действительно устал. Почти весь день он провел в грязной реке с драгой. Для Валентины не существовало рек, раков, отчимов, денег. Когда она на минуту вышла, Сева еле удержался, чтобы не прилечь. Он чуть прикрыл глаза, и перед ним возникло морское дно и увеличенная водолазной маской рачья морда с протянутыми к нему клешнями. Он открыл глаза, чтобы ее не видеть. Встал, чтобы получше разглядеть книжные полки: классика, много фантастики, детективы, стихи, любовные романы. В его доме было лишь две полки книг: русские сказки, «Гора самоцветов», «Унесенные ветром», двухтомник Лермонтова, какой-то Вилис Лацис.

– Я наконец поняла, на кого ты похож, – деловито заявила Валя, войдя в зал и закрыв за собой двустворчатую дверь.

– На кого?

– Ты – Маяковский.

– Это который про советский паспорт?

– А ты сам погляди, – она с полки сняла красный том и показала портрет. Поэт сжимал в больших губах папиросу, был лыс и смотрел мрачно.

– Ну да, что-то есть, – согласился Сева.

– Это твой взгляд. Только у него одна большая складка между бровями, а у тебя две. Одна бывает гораздо реже.

– Это выдает во мне посредственность.

– А ты его читал?

– Нет.

– Сейчас... Вот послушай – вступление к поэме «Флейта-позвоночник»:

За всех вас, которые нравились или нравятся,
хранимые иконами у души в пещере,
как чашу вина в застольной здравнице,
подъемлю стихами наполненный череп.
Все чаще думаю, не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.

Сегодня я на всякий случай
даю прощальный концерт...

– Ни хрена себе, – тихо произнес Сева, когда она закончила.

Валя засмеялась и уселась на диван рядом с ним, коснувшись Севу своим длинным бедром.

– Ну – как? – выпытывала она.

Сокращения дистанции трудно было не отметить, мысль сбивалась. Вблизи она выглядела иначе.

– Я всегда хотела тебе сказать, что мне очень нравится твой голос. Я даже скучаю по нему.

– Если бы я писал стихи, они были бы примерно такими, – ответил Сева на предыдущую реплику.

– Я в этом уверена. Осталось найти для тебя Лиличку Брик. У меня есть кандидатура.

А потом она уже говорила о домашних животных, пересказывала сцены из жизни своей кошки, смеялась, требовала реакции. Сева шарил глазами по темной комнате, не зная, как сменить тему. Наконец он просто обнял ее одной рукой и немного привлек к себе. Она поддалась, но и не думала замолкать. Он привлек ее чуть сильнее, еще сильнее, наконец уложил ее голову себе на колени. Она замолчала. В темноте ее глаза блестели. Он склонился скорее вопреки своей неудобной позе и поцеловал ее. Она поддалась, но поцелуй вышел неумелым – они стукнулись зубами. Он подтянул ее повыше, чтобы не нагибаться так сильно. Они снова слились, теперь уже обстоятельно. Сева положил ладонь на ее пышную грудь. Погладил и немного сжал. Другую руку запустил в волосы и сжал сзади ее тонкую шею. Он не делал этого никогда до сих пор, но, видимо, из-за усталости не боялся. Не боялся ее реакции. Ему было все равно, какой будет ее реакция.

Они целовались до половины первого, пока из-за двери Валю не позвала мама. Сева встал, поправил одежду, подошел к окну и, успокоившись, направился в прихожую. В ее электрическом свете он увидел распухшие Валины губы, которые потянулся чмокнуть на прощание. Но та отстранилась.

И когда вышел – тогда испугался. Того, что этого может не быть больше.

2

– А чего Печорин с Верой не замутил? Она же ему нравилась.

– Потому что он знал, какое он чудовище, и берег любимого человека.

– Он чудовище потому, что мутил не с теми. Вера бы сделала из него нормального мужика.

– Тогда не было бы никакого героя нашего времени.

– Почему герои должны быть обязательно придурками?

– Разве он придурок? Нет, это сильно чувствующий человек, который познал предательство.

– Почему нельзя стать героем, просто сделав женщину счастливой?

– Ты думаешь, что это просто?

– Но он и не пытался.

– Ты – зануда.

– Это же очевидно.

– Он просто не умел любить. Примерно как ты, Сева.

Они с Валею гуляли в парке «Юность». Сева шел чуть сзади, поэтому она не могла видеть, как он невольно пожал плечами: мимо, все как-то глупо и мимо. Она не хочет ничего додумывать, она бросает в него тем, что подвернулось под руку, и считает, что это правильно.

Это был самый старый и заброшенный парк в городе. Стоял глубокий запах гниющих листьев. Они, утепленные свитерами, шли в независимых позах: он – сунув руки в карманы, она – постоянно вырываясь вперед на полтора шага, находя для этого повод то в правильно желтом кленовом листе, то в неправильно желтом.

Он чувствовал себя здесь странно. Парк отвлекал – потому что был настоящий. В нем были звуки, а в ее комнате всегда стояла звенящая тишина.

Он бы ушел сразу, если бы не новое и пугающее ощущение пустоты от ее отсутствия. «Куда я пойду? Что мне там делать?»

У песни есть такое свойство – поющий ее вынимает из себя то, что уже невозможно спрятать обратно. Вообще неясно, как оно там помещалось, как могло лежать в покое.

Он хотел бы взять ее сейчас за руку, отвести домой, согреть; тренированное воображение легко изображало их совместный домашний уют. Оно не могло представить разве что секса, но договоримся, что тут будет все в порядке. Однако будущее, которое казалось очевидным, было обречено. Сейчас не могло быть ничего неестественней, чем ее рука в его ладони. Он знал уже это, поскольку пытался. Она посмотрела на него, как на юношу, который освоил новый трюк, улыбнулась, убрала руку. Он сжал зубы. «Как я оказался в этой ситуации?» Пытался понять, где что-то сломалось. Прошло всего несколько месяцев после их первого разговора, а они были уже мужчиной и женщиной со сложными отношениями.

Прощаясь с нею, он знал, что завтрашний день начнет для нее все с чистого листа. Он знал, что, уходя от нее поздно, он уходит из ее жизни. Его появление всякий раз оказывалось началом какого-то совместного пути. Как будто он выводил эту девушку из царства теней. И сколько раз казалось, что он завел ее так далеко, что вернуться уже невозможно. Как они могли друг друга понимать! Эти обертоны сложных мотиваций, эти опыты испытания литературной классики на соседях. А иногда и объятия, и утешенья, и прохладная страсть. Но стоило ему отвернуться, и она исчезала. А когда она появлялась, он не узнавал ее.

«Ты не умеешь любить, Сева». Даже не хотелось реагировать на эти слова. Конечно, он не умеет любить чужого человека. А кто умеет? Что чужой человек может понимать о нем? Он смотрел на нее, удивляясь своему раздражению. Отворачивался, чтобы остаться с образом той Вали, которая, да, зацепила его.

Но ведь не всегда же так было, ты вспомни, Сева. Ведь это она сама выманила тебя! Да, она выманила, внимательно и одобрительно рассмотрела. Возможно, здесь нужно было понять, что больше ничего она дать не могла.

Как не могла? Сколько раз она убедительно говорила о том, сколь ты исключителен. Разве когда человек говорит так, это не значит, что человек относится к тебе исключительно?

Нет, не значит. Это значит, что перед тобой тонкий, начитанный или просто лстивый человек, который способен рассмотреть твои исключительные качества и их редкие сочетания. Разве ты не должен быть благодарен уже за эту способность тебя оценить? Почему ты требуешь большего?

Потому что словами дело не ограничивалось. Мы были близки! Нам много раз и поразному было хорошо. И для некоторых людей это достаточный повод, чтобы быть вместе. Сева как раз из таких людей. А почему Валентина – нет?

Ей просто прискучил очередной уникам, которому она открыла глаза на самого себя. Если присмотреться, можно увидеть, сколько их вокруг нее. Среди них есть люди, с которыми ее познакомил ты сам, Сева. И ты, Сева, видел, как их изменили простые разговоры с нею.

Да, Сева хорошо это видел.

А еще он видел, как эти уникамы, пугающиеся того, что их исключительности более не осознает никто, брали ее силой. Какая неожиданность! Она вообще-то могла держать дистанцию, находясь в объятиях. Просить уйти всем отдающимся телом. Но достаточно запретить себе видеть все эти тонкости – и она твоя. Она не смеет, почти и не пытается тебе сопро-

тивляться, Сева. Она просто слабая женщина. Бери ее и гони всех проходимцев. Сделай ей ребенка, наконец.

Гм, да, дельный совет. Но тут такая штука... Встает тут один вопрос: а Сева в принципе вправе ожидать любви? Дело в том, что ему, неопытному, но начитанному, кажется, что если человек любит, то – отдается. А если не любит, то ты всегда будешь бесправен. Даже если будешь регулярно ее брать, даже если сделаешь ребенка.

Ну иногда она будет любить, куда денется. Она же просто сама не знает, как распознавать свою любовь. Она пока ее не освоила. Она освоила только разговоры о литературе и человеческих качествах. А жить ее не учили. Лучшие слова, которые она говорила Севе, были о том, что между ними было тогда, когда почти ничего не было. «Я тогда смотрела на тебя и думала только о том, как тебя хочу». Эта фраза в ее жизни возможна только в прошедшем времени. Возможно, завтра она с восторгом расскажет тебе о сегодняшней встрече, когда ты ни на миг не почувствовал контакта с нею. Все эмоции отданы этим ложным воспоминаниям. Но она никогда не вспоминала, как Сева нес ее на руках через текущую рекой после ливня улицу, как держал в ладонях ее лицо, как говорил нужные слова. Когда он пытается втащить ее в жизнь, она смотрит на него, как доктор, – внимательно. Наблюдает пациента.

Господи, как так?! Как так?! У нее вон грудь – с такой грудью жить да жить!..

Она – Лиля Брик, ты – Владимир Маяковский. Ты думал, она кому-то отдаст эту роль. Так что – либо грубая пролетарская сила, либо старый добрый разврат. Завтра кого-нибудь найдешь в ее постели. Возможно, они даже откроют тебе на стук. И ты стерпишь. Люди по-всякому живут.

Я не хочу так. Свободного человека может любить только свободный человек. Я не хочу чувствовать унижение от того, что своим присутствием что-то выпрашиваю, а не просить здесь нельзя, поскольку просто так ничего не дают.

Это все литература. Тебя тут никто не держит.

Держит. Я уже уходил. Это наркотик. Как остановиться, попробовав женщину? С кем мне делить мысли, которые у меня, мать их так, зародились? Они – прут и прут. То, что вынута, обратно не затолкать.

А говоришь, свободный человек.

Там, в парке, Сева не думал о том, как на самом деле невообразим был еще год назад их союз. Она, не по годам развита, звезда из хорошей семьи. И он, из рода, который умудрился выпасть даже из работяг, живучий и, наверное, цельный маргинал, который пока учится на пятерки, а теперь еще и знает о том, что он цельный. У них была столь разная повседневность, что этого можно было не видеть только из того условного пространства ее комнаты, в которую никогда не входили родители. У него не могло быть такого пространства, у него не могло быть своей комнаты. Но сила условности увлекла Севу, он не хотел расставаться с иллюзией, которая в иной голове не имела шанса закрепиться.

Расстаться было легко – достаточно было просто перестать приходить. Как-то стало очевидным и обидным, что движения в обратную сторону не было никогда.

Появилась масса новых обертонов. У унижения оказалось много оттенков. Сева видел, как в школе Валя при нем увлекает подружку для уединенного разговора, и внутри все леденело. Нет, это еще не предательство, но Сева чувствовал в ней эту заразу. Он в какой-то момент осознал, что она приучила его к нему. Приучила терпеть вещи, которых терпеть нельзя. Где бы ни настигала Севу эта мысль, он начинал вертеться, как на сковородке. Но это было еще пока так слабо – потому что он отдал ей слишком много места. Она сыграла роль опорной конструкции в его рефлексивном разуме. И он, конечно, напоминал себе, что это произошло не случайно. Что эту роль не мог сыграть кто угодно. А значит, все можно было бы простить за поцелуй – поцелуй, который изменит всё. И иногда он появлялся – и Сева все более ее не узнавал. Ее образ от нее отрывался. Всеволод возвращался обратно – жить в пузыре своей

фантазии, которая теперь умела вдумываться в причины поступков, в парадоксы душевных движений.

Там, внутри иллюзии, было гораздо уютнее, чем дома. Там было все, что не могла вместить жизнь, подчиненная выживанию. С претензиями этой жизни он даже не пытался спорить. Но кое-что он припрятывал для себя. И это кое-что было нечто неуловимое, но настоящее и красивое.

Он начал писать – причем сразу поэму. Начитавшись благодаря школьной программе «Евгения Онегина» и лермонтовских поэм, Сева придумал свою строфу мудреной конфигурации – и исписал ею тетрадь на 18 страниц. Это было нечто аллегорическое о том, как путник, идущий по символическому пути, встречает некую почти бесплотную, однако женскую особу, которая снимает с него радужные очки. Муки, воспоследовавшие за этим, занимали страниц семь. Он показал эту тетрадь одному барду, который пришел выступать в их школу. Бард порекомендовал обратиться к известному поэту Волгодонска, который иногда посещает ЛИТО, разместившееся в служебной квартире. Поэтом оказалась дама балзаковского возраста, которая молча вручила Севе учебник по стихосложению и сдала на руки поэта более мелкой должности по имени Виктор. Из учебника Всеволод узнал о существовании стихотворных размеров. А Виктор был нормальным мужиком, работал на «скорой», курил дурь, но мог подсказать, кого читать.

Ощущение красоты казалось приобретенным. Он привык не думать о том, красива ли река, в которую предстоит лезть, красива ли свинья, которую предстоит зарезать, красив ли человек, с которым живешь в одном доме. Это все вопросы, не имеющие отношения к жизни. Сева жил без ощущения красоты, без восхищения небом и человеческими лицами. Но теперь столько всего вспомнилось! Как он был восхищен олененком, которого вылепил отец из серого пластилина, – это было настоящее ощущение чуда оттого, что папа так точно понял, как должен выглядеть этот звереныш. Вот это папино понимание было частью красоты – в виде больших отпечатков мужских пальцев на поверхности, оставшихся как след творца.

А первая любовь в начальной школе, обошедшаяся без единого слова? Достаточно было ее профиля – она сидела в соседнем ряду на парту впереди. Маленький Сева научился рисовать этот профиль – он мог воспроизвести милый образ даже тогда, когда не видел самой девочки. Конечно, только профиль – милого образа не существовало анфас.

Да, теперь эти прорывы в красоту вспоминались как неслучайные. Красота была схвачена, почувствована. Несколько месяцев без Валентины – и он уже не мог на нее злиться, осознавая, какой аппетит к красоте она пробудила, едва приоткрыв ему женское, противопоставленное всему остальному.

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце – холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

Раннего Маяковского Сева всосал мгновенно. Из всего богатства жизненного материала теперь он отбирал и пестовал только то, что служило развитию его любимой иллюзии. Внутри нее люди имели шанс понимать и любить друг друга, а ему самому было среди них место.

Той же зимой Сева взялся за гитару. Инструмент нашелся у Павлика, соседа по парте. Вспомнилось, что Сева всегда пел, что ему и его матери не раз рассказывали, как видели его на улице то ли разговаривающим с самим собой, то ли поющим. Он пел на улицах всегда, сколько себя помнил, но почти не слышал своего голоса. А теперь услышал – возможно, это

было главное, что ему оставалось в себе открыть. Это не кто-то, не Валентина, – это он сам его открыл. По большому счету, это уже была своя собственная, ни с кем не разделяемая жизнь.

3

Накануне первого дня последнего школьного года Сева проснулся с горящими от боли губами. Еще накануне он обнаружил на них шесть болячек герпеса. Утром, пока ворочался, сорвал одну о простыню. Раньше вскакивали по одной, а тут разнесло. Опухоль, он знал по опыту, пройдет часа через полтора. Позавчера Сева подстыл на Салу во время ловли раков вместе с отчимом в местечке Петухи. Там глубина реки достигала полутора метров, из них около полуметра уходит на нежный ил, в котором, впрочем, попадались острые предметы – лопасти ракушек, консервные банки, мертвые ракообразные. На реке Сал встречались быстрины с твердым дном и камышом на вертикальном берегу, но раков Сева с отчимом ловили в местах помрачнее.

Никакой он, впрочем, не отчим – потому что никого не усыновлял.

Сева поднялся. Летом он спал на голом полу, бросив поверх него простынку. Подушкой не пользовался – спал на животе, подложив под голову руку. Тело как-то чесалось – вспомнил, в каком дерьме вчера лазили. Глянул на вчерашний порез в районе голени – он загноился. А ведь это обычный порез, они всегда заживали на нем в три дня. Надо завязывать с этими поездками.

Пора было вспомнить и о сегодняшнем дне. Это было особенный день. В жизни Севы было мало дружеских традиций. Но одной из них было хорошенько выпить и повеселиться в последний день лета. До встречи с Павликом и Олегом оставалось несколько часов.

Глянул на себя в зеркало – ну и рожа. Принюхался – кажется, что от тела до сих пор несет сероводородом. Таков итог трудового лета, но главное – выжил. Можно еще на год вернуться в детский мир школы с ее отметками.

- Кажется, нам сегодня кроме Аллочки и пойти некуда.
- У нее, кстати, завтра день рождения.
- Но выпить-то надо сегодня.
- Пойдем. Уговорим.
- Может, подарок надо подарить?
- Я ей спою.
- Я бы на ее месте нас выгнал.
- Я бы даже на порог не пустил.
- Потому что вы – босота, а Аллочка – интеллигентная девушка, – сказал Сева.
- Ее немецкая кровь дает надежду, что ей знакомо чувство вины перед русским народом, – изящно сформулировал Павлик.
- Сегодня русскому народу негде выпить, – подвел черту кореец Олег.
- Дверь открыла сама Алла.
- Здравствуй, Алла, – сказал Сева. – Мы не знаем, как завтра сложатся наши судьбы...
- Заходите.
- Да... – стали толпиться вчетвером в прихожей.
- Я не одна, – тихо и многозначительно сказала Алла, отступая в комнаты. – Проходите... Сюда...

Парни переглянулись. Сева пошел вперед. Он вдруг понял, как непредставительно он одет: серые длинные шорты и серая жилетка на голое тело.

Он вышел из темноты в свет в ожидании худощавой степенной мамы-стоматолога. А там сидела чуть сгорбившаяся женщина, державшая на отлете узкий стакан. Ее губы были чуть

сжаты, а темные глаза и не подумали подняться на вошедших. Сева остановился. Было видно, что по возрасту она почти ровесница. Но она – женщина, а тут – дети.

– Здравствуйте, девушка, меня зовут Всеволод. А как вас?

– Это Анна, – сказала Алла, – а это мои веселые одноклассники.

– Вас правда зовут Анна? – спросил Сева. – Ведь именно так должны были звать твою сестру-двойняшку, правда, Алла?

– Сева! – упрекнула Алла.

– Это у вас коньяк? – спросила Анна.

– А я вижу, вы смелы, – сказал Сева. – Либо же вам хочется простого и сильного напитка после той мешанины, которую вы только что пили. Что это было?

– Я сначала добавила в martini водки, но, видимо, слишком много. Поэтому добавила апельсиновый сок. Получилась дрянь, – слово «дрянь» она подчеркнула гримаской и впервые посмотрела на Севу.

Ее глаза были необыкновенно черны. Сева догадался отчего – плохое зрение, больше обычного расширенный зрачок. Короткие черные волосы с одной стороны едва прикрывают широкие скулы, с другой – выстрижены. Широко расставленные жесткие глаза. Смела потому, что слепа, или плохо видит оттого, что смела? Вот уж неважно.

– Найдется ли рюмка для леди?

– Благодарю вас.

– Если бы я знал, что меня сегодня назовут на вы, я бы оделся как-то по-другому. Я просто Сева.

– Ну я тоже никакая не леди, Сева.

– Я этому даже как-то рад, – сказал Сева, и они совершенно серьезно посмотрели друг на друга.

Сева вдруг вспомнил о хозяйке, Павлике и Олеге. Отметил про себя, как уверенно держался. Будто вышел сыграть рыцаря в школьной постановке. Наверное, все зависит от сцены. Дайте герою сцену – и он появится. Он мог так себя вести только у Аллы дома. У нее в зале стояли кресла с наброшенной на них материей – они были расставлены так, чтобы люди, сидящие в них, могли друг с другом разговаривать. Телевизора не было, зато стояло фортепиано – и над ним большая полка для нот. Одну из стен полностью занимала библиотека. В углу стояла гитара. Она осталась от взрослых. Сева бывал в этом доме раз десять, но взрослых не видел никогда. От дома было ощущение, что это островок мира, которого уже нет. Сева пытался настроить эту гитару – у него ничего не получалось. Больше никто не брался. Как тут играют на фортепиано, он тоже никогда не слышал. Тут была коллекция пластинок, много Высоцкого – но он никогда не слышал их звука. Книги всегда были на тех же местах, под стеклом. Но даже такой культура как будто давала свободу, подсказывала готовые ролевые фразы, которые дома и в голову бы не пришли, а тут могли произноситься уверенно, ибо без заботы о серьезности.

Но все равно перед этими стеллажами Сева чувствовал себя голым. Даже не чувствовал, а как будто осознавал, что он и есть гол.

Павлик – другой типаж. Он из большой крестьянской семьи, часть которой стала горожанами. Но все его корни – по окрестным деревням. Его дом живет по календарю родовых праздников, каждый год он гуляет на свадьбах и скорбит на похоронах, отмечает сорок дней рождений и имеет любимые блюда. В этом большом роду он пока младшенький, почти не имеющий голоса.

Олег из корейцев, которые переселились в эти края в конце пятидесятых. Его родня владеет нунчаками и большими полями. Это работающее племя не разгибает спины, их жизнью управляют севооборот и календарь созревания культур. Лук, огурцы, арбузы, помидоры, морковь... Сева несколько раз нанимался к родне Олега, за каждым овощем он сразу видел объем работ: лук – прополка, морковь – почва. Олег – отличный математик, он ненавидит этот сло-

жившийся за него мир, но никогда не скажет об этом. Он может только хмыкнуть или засмеяться. Все это – значимые для него высказывания. Ему проще в один момент тихо исчезнуть в одиноких поисках. И когда-нибудь, возможно, так же тихо появиться, ничего не объясняя.

Семья Севы оказалась здесь десять лет назад. Мама и папа, двое брянских деревенщин, приехали в город за тысячу километров от родных смешанных лесов. Отец заделал сына и пошел в армию. Вернулся, обрюхатил маму снова и поехал искать работу. Нашел строящийся «Атоммаш». Ближе ничего не нашел. Скорее всего, ему просто хотелось как можно дальше. Он уехал и пропал без вести, оставив мать с сыном и вздувающимся животом на расправу свекрови, для которой все было уже ясно. Очень скоро мама отправилась его искать в Волгодонск. Долгое время единственной подругой воссоединившейся на новой земле семьи оставалась женщина, с которой мама ехала в междугороднем автобусе. Лесные закрытые люди, кацапы, оказались на открытом, продуваемом пространстве, в краю горлопанов, сколь радушных, столь и безжалостных.

Волгодонск нарисован на карте в начале пятидесятых. Его основатели еще живы. Здесь был шанс удержаться. Здесь можно было не чувствовать себя чужаком. Потому что все – приезжие. Кого ни спроси – все помнят, как они здесь оказались. Местных – никого.

Вот и Аллочка тут случайно. Совсем другого полета девушка. Высокая, стройная, с густой шапкой светлых выющихся волос, с гордо вздернутым подбородком, назидательностью во взгляде и демократичной готовностью отшутиться от всего. Почему она их пускает? Может, даже рада этим голодранцам, которые не всегда и пытаются выглядеть прилично. Просто некого больше пускать. Они такие же приезжие. Откуда-то привезли сюда свой закапсулированный мир – и он лежит, пылится. А снаружи страшно, грубо. Этим ребят хотя бы не страшно. Сразу ясно, что они безобидны, иногда остроумны, иногда понимают некоторые намеки. Да что там – все ведут себя, как дети. Как в советских фильмах. Тот мир, который завезла ее семья в этот молодой город, предполагает постоянный светский лепет в зале. Эти кресла должны работать, а не стоять пустыми. Поэтому пускай день рождения завтра.

– Мы же, конечно, прекрасно знаем, как неприлично отмечать день рождения до его наступления, – заворачивал Павлик, – поэтому мы пришли без подарков и тосты у нас будут не о тебе.

– Очень вам признательна, – Аллочка не скрывала язвительности.

– Нет, у Севы есть подарок – он выучил для тебя свою третью в жизни песню, – утешил Олег, а сам стал вынимать некий сверток – у него подарок был.

– А что, Сева уже научился настраивать гитару? – небрежно спросила Алла.

Олег с удовольствием засмеялся.

– Чем ты занимаешься, Аня? – спросил Сева, откинувшись на спинку стула. Они находились рядом и могли разговаривать, не обращая на себя общего внимания.

– Я тренер по ушу.

– Это надо осмыслить.

– Точнее, я была тренером по ушу до вчерашнего дня.

– Ты звезданула воспитанника?

– Немножко сложнее, – Анна вдруг встала и сказала хозяйке: – Я покурю у тебя на балконе.

– Конечно!

Балкон остался приоткрыт. Здесь больше никто не курил. Поднимая через некоторое время рюмку коньяка, Сева глянул в щель и на мгновение остановился. Даже с его места было видно, что держащая сигарету кисть спортсменки явственно дрожит. Сева подержал коньяк во рту и проглотил. Маскарад дал трещину.

Чем всегда отличался этот круг, так это тем, что в нем никогда не задавали лишних вопросов. Здесь было весело проводить время, аккуратно насмешничать, пикироваться. Пред-

ставить тут дискуссию о проблеме наркомании, насилия или исповедальный монолог было невозможно. Это был мирок на обочине жизни почти всех, кто сюда входил, – и именно по этой причине их сюда тянуло.

Завтра у них всех начнется последний учебный год. А потом детство, которое и так уже приняло облик облачка, закончится совсем. Как оно закончилось для этой девушки на балконе. Но жизнь, жизнь внутри уже шла и требовала выхода.

Сева пошел в угол и вернулся оттуда с гитарой. Сел и провел по потемневшим стальным струнам. Не узнал привычного аккорда. Хрен с ним.

– До-ждь! – прокричал он и, приглушив барре струны, принялся отбивать нужный ритм. В грудной клетке как будто зародился озон, изнутри весело повеяло стихией.

Звонкой пе-ле-нО-ой напО-олнил нЕ-ебо мАй-ский дОждь.
ГрО-ом!..

Его голос был звонок и силен, он тянул и форсировал ноты, не боясь сорваться или закашляться. Голос был во много раз громче самой громкой интонации в разговоре. И Сева наслаждался этим. Он чувствовал свободу какого-то иного существования и выражения. И ему было очевидно, что для этого выражения нужна сила. Песня должна быть навязана. Спета так, чтобы ни заткнуть, ни перекричать, ни заставить сфальшивить кислой гримасой или аппетитным чавканьем.

Грянул майский грО-ом!

Просто берешь и поешь. Это же песня. Все песни – общие. Бери и пой – если можешь. Анна вернулась и внимательно смотрела в стол.

– Что, за детей приняла?

– Ну по тебе-то я сразу поняла, что начнешь приставать.

– Что ты у нее делала? Что вас может связывать?

– Я первый раз за два года. Нужно было отсидеться где-то.

– Как мы удачно зашли. Тебе не жаль, что мы всех бросили?

– Конечно, нет. Я сейчас не могу этого долго выносить.

– Чего?

– Этих вежливых разговоров ни о чем. Хотя сама большая мастерица. Почему ты запел?

– Я люблю петь. Когда поешь, кажется, что в одно мгновение можно изменить ход своей жизни. Сделать ее более настоящей, что ли.

– Если бы я не слышала твой голос, я бы с тобой не пошла.

– Что ты говоришь такое.

– Ты пел, как имеющий право. Как сильный. Кто тебе сказал, что ты имеешь право делать, что хочешь? Звучать во всю мощь? Вот я – не могу. Я шепчу там, где нужно кричать, – и понимаю это. А ты даже не думаешь об этом – и поэтому теперь ты мой мужчина. Особенному человеку можно то, чего другим нельзя.

– Это соблазнительно звучит.

В черной воде фонтана отражалась луна. Они сидели на лавочке под роскошными липами. Аня – лицом к фонтану. Сева перебросил ногу через сиденье, чтобы крепче прижать девушку. Его уже опухшие больные губы почти касались то ее щеки, то уха. Было странно думать, что семь часов назад он ее не знал. Было странно, что ей наплевать на изъяны тянувшихся к ней губ.

– Ой, пусти-ка на минуточку. – Через две минуты она вернулась, одергивая платье. – Пописать отходила.

– Да я понял уж, – Сева усмехнулся, поскольку сам – терпел. – Пытался как раз представить на твоём месте Аллу. Можешь себе представить писающую в парке Аллочку?

– Ха-ха-ха...

– Ты же мне расскажешь, что у тебя за история?

– Да, Сева, расскажу. Но только не сегодня, хорошо? Завтра, – она скользнула смелой рукой под его жилетку, не без удовлетворения погладила его торс, подняла на Севу глаза. Он впился ей в губы.

Он шел домой по пустой улице на нетвердых ногах, его немного колотило. Пальцы пахли ее телом. В голове он повторял цифры телефона, который было некуда записать. Ловил себя на том, что совершенно не может представить ее лица. Мгновеньями ему становилось страшно оттого, что он может не узнать ее завтра.

4

Анна была существом из нового большого мира, в котором мысли долго не задерживаются в головах, они быстро передаются порывами и поступками, пусть даже гнусными. Она была жрицей честной и свободной жизни, предназначенной только для смелых людей. Она, всегда одетая, как главная героиня в европейском кино, несла себя по улице Ленина, мимо хлебного магазина, киоска, детского садика, продавцов вареной кукурузы. Ей сигналили машины, и это было закономерно. Ее жизнь была на виду.

Медлительному, углубленному в себе Севе, который привык искать ответы, нравилось видеть ее со стороны. Он впервые видел человека, который настолько зримо присутствует в этом мире. Как он решает вопросы в одно касание – и идет дальше. Кажется, что идет дальше. Даже возникает искушение думать, что вот она вся, как на ладони. Так думают ребята из сигнальной иномарки. И она не против, когда о ней так думают.

У него возникало ощущение, что он смотрит на нее из мрака. Что его-то как раз практически невозможно рассмотреть в ландшафте или выделить среди прохожих. Он знал, что его можно рассмотреть только с очень близкого расстояния. А ее видно отовсюду. Что это за стрижка? Что это за белое пальто, фиолетовые колготки, полосатые перчатки с обрезанными пальцами? Где ты взяла эти вещи? Откуда они вообще берутся?

Сева стал подводной частью ее жизни. В то время как у нее самой никогда не было подводной части. Они запирались в ее комнате, в соседней – но все равно, что в далекой деревне, – жила бабушка. Почти не было мест, где они могли бы появиться вместе. Но везде, где она могла появиться, она появилась. Зашла однажды за ним домой, легко пройдя по заблеванному подъезду, испугав маму в халате. Однажды пришла с ним в его маленькую компанию отмечать Новый год. Оделась в вечернее платье. Она держала бокал с шампанским двумя пальцами, а школьники выглядели школьниками.

У нее была история. И месяцы с нею стали для Севы уроком истории.

Она была не совсем тренером по ушу, а учеником настоящего тренера. А тот совсем недавно ее домогался. Вернее, он хотел ее вернуть, поскольку ранее некоторое время счастливо обладал этой старательной и прогрессивной ученицей. Ему нравилось. Но он был женат. А еще он был негр, возможно единственный в этой российской глухомани. Свое мастерство он отточил в незнакомой экзотической культуре. А экзотика очень тянула рано созревшую Анну. Она уверяла, что он умел пробивать пальцами доски, ломал кирпичи легким движением кисти, учил управлять своей энергией. Говорил, что видит энергию каждого человека, распознает ее следы на предметах, различает по цвету и консистенции. Он и не надеялся найти в этой необъятной чужой стране человека с сознанием и телом, созданным для его африканских выпуклостей. Оказавшись здесь с некоторым капиталом, он создал свою школу и брал дорого, отсекая дворовое отребье. Анну устроил туда ее бывший любовник, состоятельный и влиятельный

сотрудник каких-то органов. Они до сих пор иногда видятся, хотя расстались плохо, от него остались долги. Так вот, после полутора лет тайной связи Анна, убедившаяся в том, что эти отношения не имеют шансов стать явными, нашла в себе силы уйти. Не обошлось без сцены, в которой прозвучала угроза насилия. На следующий день она встретила Севу.

Ее можно было взять только в бою – и Сева понял это слишком поздно. Она с удовольствием учила любовным премудростям, но, как только ослабевало напряжение, она, казалось, начинала сходить с ума, искать боли. Барьеры, которые возникали на пути к ее телу, не умещались у Севы в голове. Тренер ее преследует, она чувствует его энергию, которой надо нечто противопоставить. Парень из ФСБ оставил на ней кредит, но при этом его люди присматривают за ней. Она запуталась, хотя никогда бы не показала этого. Сила ее походки и энергия взгляда покрывали все. Она ничего не боялась, поэтому вляпывалась во все, что только можно. Она ходила со случайными людьми, если у нее было настроение. Она могла сесть в незнакомый автомобиль. Она могла ударить мужчину и получить в ответ. Ей было совершенно некогда разбираться в своей жизни, в том, что именно и почему с ней происходит. И тут она встречает юношу, не похожего на ребенка, невзрачного и дотошного в самонаблюдениях, но сильного, как его голос. Если у кого-то был шанс распутать колтун, в который сбивалась ее жизнь, то только у Севы. Но она его выбрала не за это – она выбрала его за голос.

Она показала ему все коллекции своей экзотики, последние голливудские фильмы на раритетном частном видеомagneтoфoнe, он рассмотрел все ее японские халаты – и хотел только одного: обнажить ее. Это было непросто. Он трогал ее, знал на ощупь всю – но голой не видел никогда. Возможно, она не существовала голой. За каждой из одежд была новая драма. Зимой, выходя от нее, Сева вдруг посмотрел на белоснежный сугроб и упал ногой. Долго лежал, не промерзая. Хотелось почувствовать реальность. Потому что она начала сходить с ума, и он не мог не следовать за нею. Их жизнь на двоих наполнилась призраками преследователей, которых он никогда не видел. Но они были реальнее, чем он. Она говорила, что он в опасности, что они должны расстаться ради него же, что вот сегодня только поцелуемся последний раз. И он целовался с ней последний раз, а потом не мог отлепиться от стены подъезда. Морок, исполненный плоти, ее запаха и выделений, не рассеивался. Назавтра прощание продолжалось. Она внезапно расстегивала ему штаны в незнакомом месте и опускалась перед ним на колени. С ним происходило то, чем было невозможно ни с кем поделиться, потому что это не лезло ни в какие ворота. Ему хотелось причинить себе физическую боль, потому что так было легче и проще. Это была настоящая, кровавая, страстная жизнь. Сева усмехался над собой, но не над этой жизнью. Ему было больно и страшно, но это была небывалая для него до сих пор степень реальности – и уж этого не ощущать он не мог. И он не отступал, он снимал с нее одежду за одеждой. А однажды, вернувшись домой, достал с полки Библию и открыл ее наугад. Мама, увидев, что Святое писание лежит не на месте, испугалась за сына, – Татьяна Геннадиевна впервые поняла, что не понимает, чем он живет и как ему помочь.

Рядом с Аней Всеволод чувствовал себя почти примитивным. Ни стиля, ни манер, ни эрудиции. Только его любовь и заботливая дотошность, заставляющая распутывать то, что распутать нельзя. У него могло получиться, у него была хватка.

– Молодой человек, откуда у вас такая мощная шея? – игриво спрашивала Анна и неожиданно заключала: – Ты необычайно жизнеспособен.

Сева был для нее передышкой. А она – первым настоящим испытанием для его шеи.

Однажды она заснула в его объятьях. Поздняя ночь, в комнате вдалеке горит ночник и совсем рядом – свеча. Она свернулась почти в позу зародыша. Сидя возле дивана, Сева смотрел в ее спящее лицо. Совершенное дитя – такое, каким она не умела быть в жизни. Иногда по лицу пробегали сны. Сева смотрел и думал о том, сколько раз он был уже ею обманут. Нет, не тем, что она лгала, а она ему лгала. Но нет – на самом деле он был обманут тем, что ока-

зывалось глубже. Настоящая ее жизнь всегда была где-то там. А сверху был японский халат. Сева потерялся в его складках.

Сева поднялся и выключил тихую музыку. В этом доме всегда была музыка. Затем подошел к свече, постоял, глядя в огонь, и сунул в него палец. Начал считать, один-два, задрожал, держать, три-четыре, прошиб пот, пять-шесть, держать! терпеть! это жизнь! семь-восемь-девять, му-у-у-у! десять-одиннадцать – отдернул. Прижал к груди. Пахло паленым. Больно, почти нестерпимо. Кожа пальца пригорела к кости. Усмехнулся: жертва любви. Анна спала как ребенок. Он тихонько вышел и пошел по улице, привычно захлебываясь в нагнетенной страсти. Прохлада ночи, казалось, даже не входила с ним в соприкосновение.

Все закончилось в один весенний день. Легкость расставания казалась продолжением ее прогрессирующей болезни, с которой он больше бороться не мог. Он уносил с собой чувство обыденной пошлости, которой все закончилось. Потому было почти не больно, быть рядом с нею – больнее.

Он вышел из лабиринта и посмотрел на мир. На дворе стоял апрель, раздвинулось светлое небо, в деревьях обнаружили птисы. Он чувствовал себя освобожденным, открытым для света и его простой красоты. Он чувствовал себя на воле, закаленным в рудниках настоящей страсти. Ему захотелось петь. Только в этот момент он понял, что никогда не пел в ее доме. Вообще не пел при ней со дня их встречи. Он не дал ей того, за что она его полюбила.

5

Через три месяца Сева уехал поступать на исторический факультет Ростовского государственного университета. Он точно не знал, почему именно туда, но точно знал, что пора уезжать из дома. Его собственная пробившаяся из иллюзии жизнь разрасталась, постепенно подчиняя себе его мысли, реакции и поступки – и все вернее вытесняя его из коллективного разума семьи. Взрослый мужчина, он превращался в белую ворону. Формального служения было уже недостаточно – не оставалось никаких сил скрывать все более возмутительное равнодушие к принципиальным житейским вопросам, решение которых и было жизнью семьи. Хозяйство, деньги и обновления – Сева поражался тому, что об этих темах можно дискутировать, по-настоящему спорить. Ему было все равно – когда было нужно решить, он просто принимал решение. В голове было совершенно иное. Благо, подросла сестра, не только полностью воспринявшая логику материнского существования, но и усилившая ее своим темпераментом. Теперь можно было валить – мама не останется одна.

Сева окончил школу с серебряной медалью и имел право быть зачисленным в университет в случае, если первый экзамен будет сдан на «пять». Это был русский язык и литература устно. Закинув ногу на ногу, он читал учебник Розенталя в общаге, пока его волгодонский сосед и товарищ Саша быстро и почти при всех уговаривал на балконе новую знакомую сделать ему массаж в ее комнате. Она ему делала – и не только массаж. Он возвращался и принимался готовить. Готовил только одно блюдо – яичницу. Поскольку теперь они жили вдвоем, Саша разбивал над сковородой девять яиц. Потом он шел разгружать товар в продуктовом магазине под общажным корпусом. Жить здесь и иметь постоянный заработок было высшим пилотажем. С человеком, который устроил его в бригаду, Саша познакомился необычно – помочился на него ночью с балкона. В один из первых вечеров он вернулся побитый – вывел поговорить одного качка на дискотеке и был неумолим, настаивая на том, что миром разойтись никак невозможно. Сева в тот день одолел двадцать четыре страницы Розенталя.

После первого же экзамена он был зачислен.

Когда вернулся в Волгодонск, смотрели на него уже иначе. Отчиму невозможно было доказать, что мама тайком от него не заплатила деньги за поступление, – но Сева уже не считал это своей проблемой. Он догуливал с приятелями.

Вдруг позвонила Валя. Когда-то он привел ее в детское сообщество мальчиков, вчера мечтавших лишь закрыться в комнате от родителей ради многочасовой игры в танчики на игровой приставке к телевизору, – за это время она превратила компанию в клуб своих поклонников, игравших одну и ту же роль якобы опытных похотливых циников. Сева от них отпал, потому что не узнавал ни ее, ни своих приятелей. А потом появилась Анна – и кроме нее полгода не было больше ничего в жизни. И только весной они с Валею где-то увиделись, просто увиделись. Просто посмотрели друг на друга – и было ясно, что многое изменилось, что они другие люди, которые ценят то, что еще узнают друг в друге. И было даже странно, что за их спинами в этот момент была школа – какая на хрен школа.

А в июне она позвонила. За все время их знакомства она позвонила Севе лишь однажды – тогда. Предложила поехать с общими знакомыми на базу отдыха с ночевкой, у них были планы снять большой домик. Сева согласился даже слишком резво. А потом была мелодрама из мелодрам. Вечером под навесом все выпивали и танцевали под музыку вынесенного на улицу магнитофона с колонками. Она пошла танцевать с Павликом и более не возвращалась. Вернее, после третьей композиции, укреплявшей новый союз, Сева, чтобы не проявлять себя как-либо, просто вышел за границы желтушного электрического света.

И пропал.

В темноте его колотило. Было горько от глупости. Брала злоба от того, что она сама его сюда позвала. И Сева не мог никуда уйти – они были далеко от города, а дело шло к полуночи. И глупо было злиться – выходило, что он думал, будто она жила это время, ожидая его возвращения. Ну конечно нет. Поблуждав по пустой ночной базе, помочив ноги у берега Дона и полностью протрезвев, Сева пришел в домик, лег на кровать и отвернулся к стенке, не в состоянии отключиться. Но это был не конец. Все они, четверо, пришли, веселые и пьяные. Они елозили и сально друг над другом шутили, ржали и лапали друг друга. Они не могли не видеть Всеволода, лежащего большим мешком, но – не видели.

Они все, конечно, хорошо знали Севу. Никто из них не рискнул бы проявить к нему неуважение, не говоря о том, чтобы бросить прямой вызов. Но сейчас происходил совершенный абсурд: Сева лежал и не смел шелохнуться, не смел подать звука, а они побивали его, поверженного по своей воле, единственным из возможных способов. И это продолжалось всю бесконечную ночь. Когда стало светать, компания вышла из домика и пошла к реке. Когда шаги стихли, Сева решился посмотреть на часы – было шесть двадцать утра. Автобусы начали ходить. Сева поднялся и собрал свои вещи. Прошел к берегу и, ни с кем не встречаясь глазами, сказал: «Эй, корни, – я ушел, не болейте». «Корни» – они когда-то так ласково называли свою компанию. Они все посмотрели на Севу, и у него было ощущение, что они его не узнают. Просто не знают, кто этот человек и что он сейчас говорит. Но Севе уже было все равно – он уходил в прохладное свободное утро.

Уже было даже как-то привычно – уходить, оставлять очередной мир после попытки пожить в нем.

В тот день Сева вернулся домой, а дома никого не оказалось. Это была почти нереальная ситуация. Мама, отчим, сестры, Сева – жизнь шла постоянно в виду друг друга на пространстве в двадцать квадратных метров. Некуда было деться, кроме как выйти вон. Читать и писать Сева учился в туалете. Но в тот день никого не было – стечение редких обстоятельств. Тогда Сева достал гитару и запел.

Когда начинал, а начинал с первой пришедшей на ум песни, чувствовал себя разбитым и усталым, голос был глухим и стершимся за последние сутки, сердце – перегоревшим и тяжелым. Сева начал петь, преодолевая себя. Преодолевая несоответствие между неотвратимой полнотой реальности и необязательными чужими словами, случайной мелодией. Перед тем, что было сейчас в душе, меркло в своем значении все, что он мог произнести, напеть или наиграть, – все это было заведомо глупо. Лишь одна была зацепка – сам голос. В тот момент Севе

хотелось только скулить. Издавать звук, позволявший вытекать эмоциям, которым иначе найти выход невозможно, потому что все это – эмоции от предыдущих связей. Связи оборвались, но внутренний мир еще продолжал поставлять кровь и мыслечувства туда, где больше никого не было. Рана была открыта прямо в высасывающий соки космический вакуум. И когда потекла тонкая струйка голоса, сначала показалось, что просто нужно встать и прикрутить водопроводный кран на кухне – настолько не связанным с внутренним миром показался звук собственного голоса. Но мелодия что-то внутри все-таки нашарила, подцепила – стало чуть легче.

Сева пел пять с половиной часов. Были песни, которые он спел не единожды. Ему казалось, что он забыл свое имя. Он больше не думал даже о последовательности аккордов. У него появилось ощущение, что можно спеть любую песню под любую последовательность. Ему казалось, что он способен сейчас спеть рецепт к врачу, что любой аккорд – это первый шаг в песню, а последний нам предугадать не дано. Он пел чужие посредственные песни, но никогда они не имели столько смысла – даже для тех, кто их написал. Потому что он уложился весь в эти случайные слова и мелодии. За их пределами Севы не существовало. Все эти часы он находился где-то внутри музыки. Все, что убивало, опустошало его бессловесно, он заставлял найти выражение – и не быть к нему слишком строгим. Потому что его голос – это его любовь. Это любовь, предназначение которой – выводить из мрака в свет. И эта любовь – она не вполне моя, думал Сева. Потому что я-то что – всегда то обиженный, то голодный. А она всегда на пике существования – она любит нас прямо сейчас, о чем бы ни пела. Надо же понимать: она не докладывает, не сообщает нам о происшедшем там-то и там-то, – она сразу поет это. И я чувствую это, и понимаю, что сам на это не способен. Я восхищаюсь этим великодушием, восхищаюсь той любовью, к которой мне дано быть причастным, но точно знаю, что я сам не столь великодушен.

Все, что сливалось в сточную канаву раны, стало алой кровью песни. Он как будто многократно прогнал весь свой забитый ядами и шлаками внутренний мир через фильтр песни, через фильтр далеких судеб и значений – и в какой-то момент чувствовал, что перестает существовать, что не может вспомнить ни о чем, что бы не относилось к тому, о чем он сейчас поет. Футболка на Севе промокла, с кончика носа время от времени срывались капли, но он продолжал петь. Это была как будто долгая и упорная, сладкая и выматывающая молитва – о том, чтобы Бог, стоящий за музыкой, прибрал его к рукам. Забрал из тех рук, в которых он – лишь жертва случая, каприза, чужой неверной воли. Нет, я готов Тебе молиться день и ночь, дай мне силы воспевать Твой мир случайными песнями – но ты же видишь, сколь чист мой помысел. Насколько, что и песня группы «Чайф» тоже может быть молитвой, прямым обращением к Тебе.

Он не мог остановиться. Он растворялся, но при этом чувствовал, что никогда до сих пор жизнь не востребовала его в той степени, в какой это делала случайная песня. Жизни не было нужно и нескольких процентов от него. Жизни нужно было, чтобы он заткнулся и не привлекал к себе внимания. Ей не нужны были его сила и огонь, о которых он сам мог бы никогда и не узнать, если бы не запел. Но он узнал, он как-то дотумкал. Ах, какое счастье, что мне пришлось в голову запеть! Что я могу себе позволить это делать. Но, Господи, что же мне теперь делать с тем собой, которого я вытаскиваю сейчас на свет Божий? Как жить человеку, который себя выразил, который кое-что представил о себе?..

Он не мог остановиться. Почему я должен остановиться именно здесь? Я ведь могу петь и дальше. И дальше...

Он остановился, когда порвалась струна. Посмотрел на часы, вытер лицо полотенцем и понял, что очень голоден. А еще понял, что за это время ушел куда-то очень далеко, где его не найдет никто. Песня, как машина времени, перенесла его на несколько лет вперед. Завела в какое-то особенное место. Там все примерно так же, как у нас, только формула существования

человека какая-то другая, возможно более верная. Сева знал, что будет впредь тянуться к этому месту, искать его, стремиться туда.

6

Кровать в общежитии была первым своим углом – у его внутреннего мира появилась точка в пространстве, и это ощущалось как абсолютный прирост.

Но довольно быстро стало ясно, что это койка в плавильном котле, куда стекается многонациональная голодная лимита, чтобы стать жителями большого города. Ингуши, калмыки, дагестанцы, русские всех мастей – все стояли в очереди к коменданту, встречались в единственном продуктовом магазине вместительностью в десяток человек. Все они здесь, нападая и сбивая друг о друга острые углы, должны обрести безличность, почувствовать, как нужно вести себя в массе.

Сева никогда не встречался с массой. А в сентябре пошел на День города – и увидел эту лавину, которая шла сначала на Театральную площадь по Большой Садовой, потом – обратно. Вокруг шли люди, которые привыкли не обращать друг на друга внимания. Они были гораздо более уязвимы, чем он, привыкший сканировать каждого встречного. Они, видимо, ощущали себя спрятавшимися в массу. Они, возможно, даже считали, что находятся в безопасности в ней. Хотя его, видящего насквозь каждого встречного, они умело не замечали. Сева почувствовал свою власть над ними. Даже не свою, а – власть любого волка среди этого овечьего стада. А волки здесь, безусловно, были, в этой толпе для них раздолье. Бутылки, баклажки, банки с пивом в руках у каждого второго, а плотность мусора на дороге запредельна. Подогретая толпа в несколько десятков тысяч человек. Но в целом она доброго нрава. В ней действительно можно было залечь – и жить настолько полноценной жизнью, насколько это вообще возможно в одиночку.

Он проучился четыре месяца – это было так же несложно, как и школа. Коллектив был в существенной степени женский – и воспринял он его напряженно из-за почти анекдотической ситуации. Еще в сентябре к нему нагрянул в общагу Саша, этот неудержимый Саша. Они порядочно выпили, пошли за добавкой – и застряли в лифте, а их вызволяли какие-то барышни. Было темно, Сева оказался в комнате одной из них, Саша куда-то делся. Сева читал ей стихи и занимался с ней любовью. И она шла на это с каким-то надрывом, будто жертвуя последним, что у нее осталось, – а Сева не вникал, он в этот момент был исполняющим обязанности Саши. Он ушел от нее ночью, добрался до своей комнаты и свалился лицом вниз. А наутро не мог ее вспомнить. Ни лица, ни имени, ни даже этажа, на котором он был. Только ее возбуждающий зад стоял у него перед глазами. Существовала большая вероятность того, что девушка была с его курса. В следующие дни он внимательно рассмотрел всех девушек в своей группе, ни одна и бровью не повела. Но коллективный женский разум уже все про него понимал. Сева явно чувствовал невыраженную обструкцию, но не понимал, заслужил он ее или нет. Для себя самого – пожалуй, заслужил. Потому он не пытался разрушить возведенную стену и сосредоточился на учебе. Он спокойно в одиночестве сидел на заднюю парту, не обращая внимания ни на кого, не заговаривая ни с кем.

Ближе к декабрю на спецкурсе по латинскому, куда ходила только часть группы, одна блондиночка подседа к нему сама. В ее лице, впрочем, было некоторое высокомерие, в тонкой извилистой улыбке пряталось нескрываемое снисхождение. Марина оправдывала его возрастом – она была на два года старше всей группы. Взрослая женщина могла себе позволить сесть с плохим, но единственным мальчишкой.

– Наверное, будешь отвлекать меня болтовней? – откинувшись, предположил Сева, когда она присела рядом за парту.

Ее натянутая улыбка стала шире, но подбородок чуть задрожал. Любовые атаки были не ее стихией.

– Но поскольку ты симпатичная, я потерплю, – закончил Сева, нарочно не глядя на нее.

– Какая наглость! – наконец воскликнула она. – А если бы я была менее симпатичной, ты бы выгнал меня с позором?

– Как и многих до тебя, – подтвердил Сева.

– Это была уборщица. Зря обидел Евгению Михайловну.

Сева соскучился по этому легкому драйву.

– Какая у тебя необычная «ж», – произносил он, глядя на ее почерк через руку. – У меня, между прочим, тоже. При случае покажу тебе свою «ж».

– Буду польщена, – дрожал ее подбородок.

Он чувствовал, что остроты проходят. Но на этой стадии все могло и остаться. Было даже как-то странно примерять к себе эту высокомерную леди, сопровождавшую шуткой каждое суждение. Однако прямо на латинском она шепотом спросила:

– Когда ты покажешь мне свои стихи?

– Хочешь, сейчас одно прочту?

– Сейчас?

– Называется «Фонтан», – и Сева зашептал ей на ухо:

Мне не нужно ни одно твое подобье.

Если ждать тебя так всю жизнь – значит, проживу не зря.

Я оглядел трамвай, бульвар, автобус —

да, ты здесь. Куда же без тебя...

Я казался грязным от лишней прямоты.

Мы говорили, а снег не таял,

он тихо падал за окном, и ты

так часто отвлекалась.

У меня кости трещат от разрядов.

Капают в землю молнии с рук.

Мои глаза болят от единственного взгляда.

Я коснусь тебя лишь однажды и вдруг...

Казенный дом – и в свете отражений

мимо меня идет твое пальто.

Я ушел, но улицы в хаосе брожений

цветом твоей кожи окрасили бетон...

Фонтан воды из моего смеется горла.

У меня отколоты левая рука и нос.

Мы с тобой всегда ходили голыми.

Именно такими в мрамор нас заключила ночь.

– Всеволод, вы вообще слышите, что я вам говорю?! Может быть, вы выйдете наконец?

– Извините, Лариса Петровна. Да, я выйду – извините.

Сева принес Марине ворох стихов. В ответ она замолчала, даже перестала шутить. Сиделись рядом они редко – только два раза в неделю. Потом она принесла стихи и молча вернула.

И Сева с готовностью сделался мрачным. В течение очередной пары не проронили ни слова. «Что я здесь делаю?» – вертелось в голове. Обернулся на нее не без злости:

– Посмотреть на меня хотела? Ну вот – посмотрела!..

Сева ставил точку.

– Мне очень понравилось, – вдруг произнесла она.

– Как же я тебя пойму, если ты ничего не говоришь? – пролепетал он тут же.

На следующий день Сева предложил Марине вместе пойти на день рождения к его другу. Она согласилась. День рождения закончился тем, что он пел, а все сидели вокруг полукругом. И Марина была среди них. А потом он ее провожал. Но поцеловал только на следующий день. А потом они сидели рядом уже на всех парах. Их сближение нарастало каждый день. Они и сами знали, что остановиться невозможно. А возможностей для уединения было не так много. Они постоянно шатались в поисках места, где останутся одни.

Закончилась сессия после первого курса – и все время вдруг оказалось в их распоряжении. Сева устроился работать грузчиком у предпринимателя, державшего неподалеку от общежития лавку с мороженым. Утром к этой лавке нужно было подогнать холодильники с товаром, вечером – отвезти их обратно на склад. Склад – в двухстах метрах.

Он просто физически не мог оторваться от Марины. Жаркое лето их сжигало, все свободное время уходило друг на друга – и его все равно было чудовищно мало.

В двенадцатом часу ночи Сева вернулся в свою комнату на девятом этаже, из которой неделю назад разъехались его соседи, – а там, укрытая тонким покрывалом, полностью обнаженная, чутко спала маленькая светловолосая девушка. Час назад он оставил ее здесь, чтобы отправить в надежное место набитые пестрым мороженым холодильники. Он принес с собой большой брусок пломбира. Его нужно было сейчас съесть, потому что холодильника в комнате не было. Но она спала. Спала на разложенном уже много лет назад большом диване, кочующем из комнаты в комнату, стоящем на деревянных подпорках и застеленном грязно-изумрудным покрывалом. Сева, боясь загромоздить, положил брусок в мелкую тарелку, тихо разулся, прокрался к ней. Она впервые осталась у него на ночь. И он не мог оторвать глаз от лица, которое он еще не видел спящим. В том, что она спит, спит здесь, ему чудилась высшая степень доверия. И он не знал, как благодарить ее за то, что она спит в его комнате.

Она пробудилась от первого же касания – и раскрылась, зашептала, притянула. Она была первой женщиной, у которой не надо было ничего просить. Нужно было уезжать, насытиться друг другом перед разлукой было невозможно. Оказалось, что жизнь может быть разделенной, – и это состояние, отчетливо понял Сева, пристало считать естественным. Но у него не получалось.

7

Волгодонск старел. Асфальт по-прежнему подметают, но уже давно не меняют. Раньше трудно было представить себе осыпающиеся бордюры. Пыльно дует ветер по пустынным улицам. Сойдя с автобуса, Сева огляделся: середина дня, а на всю округу три ковыляющие фигурки, если не считать людей, которые вместе с ним вышли. Привычно закинул сумку на плечо и пошел к дому. Мама, наверное, торгует.

Его здесь ждали. Да, невозможно было не приехать. Год назад он оставлял здесь так много. Вся предыдущая мутная жизнь была вписана в формы здешних улиц, аллей и тополей. Каждая щербатая скамейка или выбоина асфальта оказывались зарубкой одиноких дум, случайных встреч и неслучайных расставаний. Проспект, так привычно затянутый кверху ветвями тополей, будто не замечал, что он, Сева, изменился. Этот проспект словно напрямую обращался к тому в Севе, что целый год было не нужно и, казалось, уже пережито, преодолено более важным. Но одного вида улицы оказалось достаточно, чтобы культурный слой одного

года соскочил как небывший, – и сразу вернулся морок заплесневелой ненависти к отчиму, щемящего переживания предательства, неизвестно почему душа подернулась паволокой отчаяния, сделавшей надрывным даже движение Севы к родительскому дому. Ему совсем недавно казалось, что он все это преодолел. Но он снова был в мутном потоке, из которого нет выхода.

Но, накатив до какого-то предела, город вдруг отпрянул, будто наткнувшись на источник света. Марина осеняла Севу издали, она светила внутри, проясняя внутренний мир до самой кожи. Сева улыбнулся.

На пяточке, образованном перекрестком бульваров, рядом с тремя бабками, действительно сидела мама. Сидела на раскладном стульчике перед поставленным на маленькую табуретку зеленым ведром жареных семечек. Когда Сева начал переходить широкую дорогу, мама его увидела и встала. Он издали увидел, что она не может сдержать улыбки, и тоже заулыбался. Они обнялись, маленькая мама поцеловала его в щеку, стерла помаду, сделала замечание за щетину и стала собираться – торговый день окончен, сын приехал. Сева поздоровался с незнакомыми бабушками, вспомнив давнюю просьбу мамы: «Ты, Сева, здоровайся с ними – хоть ты их и не знаешь, они все хорошо знают, что ты мой сын», – те приветливо закивали.

– Давай помогу.

Сева взял ведро и складную табуретку. До дома была сотня метров.

Борщ был вкусный, а стены знакомые. Но тут же подступила теснота, от которой успел отвыкнуть. «Мой дом там, где я», – вспомнилась фраза приятеля. Еще вчера она казалась верной, сегодня Сева не мог приладить к себе вовсе. Получалось: там, где она.

Каждую минуту каждого долгого дня в голове Севы звучал внутренний голос, который докладывал Марине о том, чем он сейчас занимается, как переживает текущую минуту. При этом о происходящем прямо перед глазами внутренний голос повествовал как о давно прошедшем и пережитом.

«Помню, когда я в то лето приехал в Волгодонск, я не чувствовал свободы от тебя, – нет, я думаю, что ты и давала мне какую-то новую свободу. А здесь я был заперт в клетке с тенями прошлого.

Мне тогда подумалось: все это время – последние полгода – я не занимался ничем, кроме тебя. Экзамены не в счет же, правда? Я даже всерьез озабочился тем, что на самом деле больше ничего не умею делать – только любить тебя. Может быть, это ненормально. Люди ведь делают в жизни что-то еще. Возможно, ты тоже думаешь об этом – что будет, когда в нашей идиллии под одеялом встанет хоть один простой земной вопрос: что есть? кем быть? где жить? Не думай обо всем этом без меня, пожалуйста.

Я тогда делал ремонт, как робот, с ужасом понимая, что закончится он гораздо раньше, чем мне можно будет уехать.

Боже мой, как это много – месяц. За это время люди становятся другими. Мы с тобой стали совсем другими за какие-то пять месяцев. Сейчас июль, а еще в декабре мне бы и в голову не пришло, что ты можешь быть моей настолько. Ты – такая взрослая, прохладная, высокомерная, – помнишь? Ты была по-своему хороша, но – какое отношение это имело ко мне? Я до сих пор понять не могу, как так вышло, что ты оказалась совсем другой. Близость совершает фантастическое преображение. Я чувствую это и на себе. Потому что я просто ни о чем, кроме тебя, теперь и думать не могу.

Мне кажется, ты – первый человек, которого я запомнил всего. Я раньше замечал, что людей запоминаю какими-то почти случайными фрагментами. А тебя моя память может перекручивать, как киноленту, – я наслаждаюсь, пересматривая любимые моменты. Вот ты лежишь на животе на полу, положив щеку на сложенные руки – и волосы закрывают один глаз. Я подвигаюсь к твоему лицу, начинаю тебя целовать – и вот ты перекатываешься на спину, открывается твой хохолок...

Каждый мой мысленный сюжет о тебе заканчивался нашей близостью. Я пугался и страдал – я страдал, Марина! – потому что мгновенно привык касаться тебя каждую минуту. Если такие люди, как я, считаются разбалованными, – это жестоко. Нет, я не разбалованный, я – дорвавшийся.

Не было в том Волгодонске мне покоя, Марина, – ты мне мерещилась, десять раз на дню я видел тебя на улице – то в окне, то в проезжающем троллейбусе, то со спины, входящей в молочный магазин, куда я, помню, бегал еще пятилетним мальчиком. Чтобы сократить время отпуска, я старался раньше ложиться спать».

Марина ему написала. Рассказала, что они с подругой сходили в кино на фильм «Титаник», о котором сейчас так много говорят, что там много смешных моментов – например, когда ди Каприо околеваает на глазах любимой, которая в конце концов с усилием отталкивает его прицепившийся труп. Дальше шло не менее остроумное описание поездки в деревню, что-то про семью. Сева бежал глазами в поисках строк, которые захочется перечитать. Да, там было, за что зацепиться, – письмо заканчивалось словами: «Любимый, когда же ты наконец приедешь! Я совсем не могу без тебя!» Сева тут же написал пламенный ответ. Через полторы недели пришло второе письмо – и снова репортажи. Уже без заветных слов в финале.

Дня через три мама сказала: «Севочка, может, конечно, нехорошо читать чужие письма, но я прочла письмо Марины к тебе, видя, как ты переживаешь, и скажу, что оно написано в обычном дружеском тоне...»

Сева взорвался.

8

Уезжал он из дома со скандалом – потому что было 18 августа и оставался еще месяц до начала учебы. Мама не понимала, объяснять ей Сева ничего не хотел. Нечего тут было объяснять. Сева сказал, что устроится на работу, – и уехал последним вечерним рейсом в 23.30. В четыре утра автобус прибыл на автовокзал в Ростове. Схватил сумку, пошел к переходному мосту, ведущему на Западный микрорайон, в расчете встретить ночной автобус. Дорога была пуста. Сева ждал, деньги на такси тратить не хотелось – взял совсем мало. Но через двадцать минут остановил машину и сговорился с водителем за полтинник. Выходя возле общежития, усмехнулся: «Хорошенькое начало». Стал стучать в закрытую на ночь алюминиевую дверь общаги, пока не проснулась вахтерша тетя Маша. Обругала так, будто он ломится каждую ночь.

Лифт не работал. На девятый этаж Сева поднимался неторопливо. В общаге не было ни души. Прошел по кафельной галерее между пролетами, на ходу доставая большой ключ от двери, которую за минуту мог открыть отверткой. Переступил обитый порог и включил свет. Со стен в щели подались тараканы. На стенах грязной желтизной бросились в глаза зеленые, местами отставшие обои. Роль штор выполняли две оранжевые тряпки, не скрывавшие облупившегося окна. Бросил сумку возле внутристенного шкафа. Сел в ободранное, но прикрытое приличным покрывалом кресло, закурил. Возникло ясное чувство потерянности в коммунальной вселенной. На полу стояла большая пыльная кастрюля. Сева протянул руку, чтобы заглянуть в нее. Плесень за месяц выросла почти до половины – он забыл вылить недоеденный суп. «Завтра, все завтра», – и, скинув джинсовую куртку, лег животом вниз на нерасстеленную кровать. Как только рассвело, Сева вышел из комнаты и автобусом поехал в центр. Там он сел на транспорт до Аксая.

Когда Сева добрался до ее девятиэтажки, было почти девять утра, уже палило августовское солнце. Он ехал на автобусе и почти не встречал людей. Показалось, что сегодня он единственный, кто вернулся в этот город. Дверь открыла ее мама. Сказала, что Марина уехала на работу. «Она работает», – это была новость. Сева подробно расспросил, где ее найти. Так, гостиница «Турист», пятый этаж.

Поехал и теперь уже оказался в суете проснувшегося города. Эта бесконечная дорога. Приехал почти к одиннадцати. Поднялся на пятый этаж, пошел по коридору, прислушиваясь к голосам. Вот полуоткрытая дверь. В проеме видна часть голубого платья. Сева заглянул. Марина сидела за столом почти спиной к нему, она держала в руке ручку, перед нею лежал блокнот. С такими же вокруг стола сидели еще несколько женщин и мужчина. Он осторожно открыл дверь, все повернулись.

– Добрый день. Марина, можно тебя на минуту? – спросил Сева совершенно ровным голосом.

Она обернулась и вспыхнула. На лицах позади нее приподнялись брови. Извинилась и выскочила.

– Привет, – прошептала она горячим шепотом. – Пойдем отсюда. Пойдем скорее – я на несколько минут.

Быстро спустились по лестнице, вышли, огляделись – некуда идти. Просто зашли за гостиницу, и там Сева остановил и прижал к себе тело, мгновенно узнанное ладонями. Он прижимал ее и чувствовал, что все тело уже разговаривает с нею – а из горла слова не идут.

– Когда ты освободишься сегодня?

– Нет, сегодня не получится.

– Я тебя встречу.

– Нет!

– А когда?

– Давай завтра утром.

– Ну конечно.

– В десять часов. На пересечении Ворошиловского и Садовой.

– Конечно, конечно...

Сева заскулил, вдохнув запах ее шеи. Она улыбнулась, прикрыв глаза и будто сваливаясь в дурман касаний. И Сева, тут же откликнувшись, взял ее лицо в руку и, большим пальцем коснувшись губ, поцеловал – надолго, запойно...

Она, наконец, отстранилась и сказала, что уже пора. Он подвел ее ко входу в гробницу гостиницы. Как только Сева отпустил ее руку, она исчезла внутри.

Постояв несколько секунд, Сева огляделся. Неподалеку, около гаражей, работали экскаваторы. Он вдруг понял, что они жутко громко гудят.

9

Марина шла независимо. В тот самый момент, когда Сева ее увидел, что-то внутри него оборвалось. Он видел ее издалека. Но шла она не к нему навстречу, а просто шла. Ее вид был невозмутим, независим. Минуту назад готовый подхватить ее на руки, теперь Сева, медленно выдохнув, будто осадил себя. Она приблизилась и улыбнулась, когда его увидела, но коротко и деловито. Внутри начало свербеть. На ней была белая, знакомая ему, полупрозрачная кофточка-паутинка, под которой никогда не могла укрыться ее острая грудь. Когда Марина одевалась так, Сева невольно старался укрыть ее от чужих взглядов – чтобы те не играли с тем, чем ему хотелось дышать. Но сегодня скрывать было нечего. Паутинка сегодня лежала, как броня, облачая ее всю, не выдавая ничем скрытой за нею плоти.

Немного оглушенный мгновенным предчувствием, на всякий случай, как недо-тепа-купальщик, который пытается поутру убедиться, что на реке лед, Сева сказал:

– Поехали ко мне, – и сам не поверил своему голосу.

– Нет, – голос прозвучал резко. – Давай где-нибудь сядем.

Сева мгновенно успокоился. Мысли, совпав с реальностью, перестали пугать – они и вовсе пропали, замененные происходящим.

Какое-то время они молча шли к парку. Мучительный путь. Парк Горького – самое официальное место, какое только можно придумать: карусели да кабаки – они никогда здесь не были вместе, предпочитая дикий, почти глухой парк Революции. Они сейчас как будто шли по отдельности, мешали друг другу.

Нашли место под ивами, перед пустым фонтаном. Сева успел собраться, откинуть все, с чем он шел на эту встречу. Он сосредоточился на подвижно острой тени листьев, прикрывавших выбранный уголок от яркого, но еще не знойного солнца. Повисла пауза. Сева медленно взял ее руки в свои.

– Говори, Марина, – сказал он мягко. – Что за сомнения тебя мучают?

– Сева, я подумала, что нам лучше остаться друзьями.

– Мы уже друзья.

– Я теперь работаю... и отношусь к этому очень серьезно.

– Это хорошо.

– Мне... вот те отношения, которые у нас сложились... это больше не нужно.

– Чего именно не нужно? – переспросил тихо.

– Ничего.

– Ничего не нужно, – повторил Сева механически.

«Вот ведь недоразумение: мне нужно все, а ей не нужно ничего». Он ничего не чувствовал, это был анабиоз. Но как-то отчетливо подумалось: не может же человек не понимать, что он говорит. Сейчас его Марина, с которой они полгода дышали в такт и лишь ненадолго прервались – казалось, только затем, чтобы больше не расставаться, – эта Марина сейчас сказала, что ей от него не нужно ни-че-го. Нет, это положительно нуждается в осмыслении.

Сева внимательно смотрел на нее. Сейчас, сказав эти слова, она перестала быть чужой – она сделала тяжелое для нее дело, оно ей нелегко далось. Сева вдруг улыбнулся ей, как бы стараясь поддержать. И она улыбнулась в ответ – широко, неожиданно, не без ноты вины. Оскорбительной вины. Сейчас можно было протянуть руку и погладить ее. Потому что это была его Марина. Но это была уже Марина, сказавшая ему то, что сказала. А это значит, что минутная слабость пройдет. Что выпущенные на волю слова вот-вот подскажут ей иное выражение лица. Может, она ошиблась, может, как раз эти слова – минутное? Они даже не ссорились никогда. Они не выпускали друг друга из рук. Но от одного-единственного слова появилось твердое чувство необратимости. Ничего не вернуть. Отношения, в которых не было ни трещины, можно только разбить.

– Хорошо, – ответил Сева. Он сделал паузу, еще раз рассмотрел ее лицо. И почувствовал, что сейчас станет очень больно.

– Пойдем, я провожу тебя до остановки, – мягко предложил он.

От этих слов у нее выступили слезы. Она сжала его ладони.

«Ничего не надо», – фраза уже отрезала прошлое, и за нею еще не просматривалось будущее. Он сейчас будто переживал период жизни, который состоит только из одной фразы, которую надо постичь, изучить, как неудачливый путешественник изучает необитаемый остров.

Она обняла его.

– Не плачь, девочка, – прошептал он и погладил ее по голове.

Она немного отстранилась и сказала:

– Сева, ты самый лучший, – и снова прислонилась к плечу.

Он старался не шевелиться. Почувствовал, что внутри него, где-то глубоко раздался крик, который расползается по телу, будто яд. И от любого неосторожного движения или взгляда этот крик может вырваться.

– Пойдем, – снова предложил он, чувствуя помутнение.

Она взяла Севу под руку и прижалась к нему всем телом, как в минуты самой исступленной их любви. Так они и шли. На остановке он посадил ее в автобус и, не помахав ей вслед, зашагал в пустую комнату в пустой общежитии.

Занятия начинались через месяц.

10

Тут, оказывается, был дефолт.

Сева перешел с сигарет L&M на «Нашу марку», купил в магазинчике у общежития две пачки гречки по старым ценам – новые не радовали.

Это была такая опустошенность, что было невозможно найти причины встать с кровати. Никто своим присутствием не вынуждал – и Сева лежал и лежал. Пока не засыпал.

Ощущение стыда пришло первым. Поначалу оно не было достаточно сильным для того, чтобы волновать.

Это было ощущение стыда за свое одиночество. Он хотел любить так, как хотел иметь работу. Стыдно быть здоровым парнем и не иметь работы, быть ненужным. «Ты не умеешь любить» – вернулась-таки фраза. Но сейчас не было сил отказывать. Любовь была, как большая культура, в которую его, простака, не пускали. Он поиграл в душных спектаклях, подышал угаром страсти, упился нежностью пасторали – и теперь лежал на провисшей кровати, изгнанный и неизменно любящий.

Вспомнились детали. Как Марина говорила в шутку, что рассчитывала на роман, плавно переходящий в марш Мендельсона. А он, значит, был чем-то другим. Почему другим? Кто знает. Может, поехать к ней прямо сейчас, подавить объятьями? Ты же видел ее глаза – она не сможет сопротивляться.

Нет. Ни в коем случае.

Она засомневалась в нем.

Она засомневалась.

11

Главным средством познания мира для Севы оказалась женщина. Он всегда тихо сочувствовал парням, которые общаются только друг с другом. Где было настоящее чувство, какое было более настоящим, – даже неясно, знал ли он об этом сам, важно ли это. Но женщина всякий раз вытаскивала его наружу – и он оказывался новой, незнакомой для самого себя формой жизни. И это становилось уже даже смешно – в какой момент должен начаться он сам, узнаваемый для самого себя? Существует ли он сам по себе или он только тот случайный образ, который женщина ненароком вызвала из темного леса его внутреннего мира?

А теперь, если вдуматься, у него уже впечатляющий опыт – не просто шуры-муры, а разнообразный опыт любви к девятнадцати. Он не просто девочку за ручку подержал, не просто ему показали грудь – у него вообще уже все было. У него могло бы сейчас стоять три штампа в паспорте – это бы ничего не прибавило к опыту. Он уже вознагражден за свой интерес к женщине. Но он сейчас лежит на кровати и не знает, зачем ему вставать.

Он чего-то недопонял. Он такой же Данила, как тот чурбан с карманами бабла, за которым не пошла самая простая и несчастная. Чем он отличается от презируемого им мужичья? Какая разница, в конце концов, насколько ты не понимаешь женщину? Какая разница, пытаешься ты ее понять или нет, если результат один? Это либо поражение, либо ты, Сева, был слишком тороплив. И что-то упустил – что-то такое, чего упускать нельзя. Без чего любовь не сохранить.

III. Рыцарский роман

Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, опасное, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь? Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, «что Бог дал», – только земля, только одна эта жизнь? Бог, очевидно, дал нам гораздо больше.

И. Бунин. «Жизнь Арсеньева»

1

Он был бесплотным духом, который со страшной скоростью несется по-над дорогой. Та изгибалась и корчилась под ним – то разбитая грунтовка, то скоростная магистраль – петляла, ныряла под навесы деревьев, уходила вниз, в долину, становясь у

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.